SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.


- В. И. Яковенко
  - 
  - Глава I. Перед смертельной схваткой
  - Глава II. Казацкий батько – Богдан Хмельницкий
  - Глава III. “Ад кромешной злобы”
  - Глава IV. Разгром
  - Глава V. Згода![3]
  - Глава VI. Снова Война
  - Глава VII. Воссоединение
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

**В. И. Яковенко**
**Богдан Хмельницкий**
**Его жизнь и общественная деятельность**
**Биографический очерк**
***С портретом БогданаХмельницкого, гравированным в Лейпциге Геданом***

# Глава I. Перед смертельной схваткой

***Присоединение Древней Руси к Литве и Польше. – Характерная особенность общественного строя Речи Посполитой. – Экономическое положение крестьянства. – Украина. – Дворянство. – Горожане. – Казачество. – Татары. – Запорожская Сечь. – Посягательство на казацкие привилегии и вольности. – Церковная уния. – Восстания и морские походы. – Косинский. – Наливайко. – Сагайдачный. – Тарас. – Сулима. – Павлюк. – Острянин, Скидан, Гуня***

Оживленное некогда Поднепровье долго лежало в запустении после Батыева нашествия. Прошли времена Владимира Красного Солнышка. Прошла слава Олегов и Святославов, достигавших своими дерзновенными руками твердынь самого Царьграда. Прошли жестокие и бесславные времена удельных распрей. Все, даже саму память о былом, смела азиатская дичь, промчавшаяся диким вихрем по русской земле. Русскому человеку, словно застигнутому грозным явлением природы, оставалось одно только: бежать, укрыться. И он бежал: бежал в полесские болота, на север, бежал к карпатскому предгорью, в Червонную Русь. Сюда, в столицу червоннорусских князей Романа и Данила, и переносится на некоторое время центр южнорусской жизни. Но львовским князьям не удалось создать сильного государства. В XIV столетии Червонная Русь присоединена была к Польше, а остальная часть южнорусской области: Подолье, Киевщина, тогдашняя Украина, – вошли в состав Великого княжества Литовского. Правда, это литовское княжество было в действительности русское: здесь господствовали южнорусская образованность и южнорусский язык. И после того, как литовские князья одержали верх над татарской силой и отбросили ее к самым берегам Черного моря, наступала, казалось, новая эра для развития самобытного южнорусского государства. Но к этому времени выросла уже Польша, которую не затопила монгольская волна и которая продолжала развиваться в близком соприкосновении с западноевропейским миром. В 1386 году Польша и Литва соединились под властью литовского князя Ягелло, женившегося на наследнице польской короны Ядвиге. Оба государства сохраняли свою полную самостоятельность: в Литве продолжал княжить старый княжеский род, а Польша избирала себе в короли литовского князя. Личная уния с течением времени переходит в полное государственное объединение, а высшая культура, естественно, дает перевес полякам. В 1476 году уничтожается удельное Киевское княжество;

оно превращается в простое воеводство. В 1569 году по Люблинской гражданской унии вся южнорусская область присоединяется непосредственно к Польше, становится провинциею Польши, хотя и на правах равной и свободной страны и с полным сохранением веры, языка, законов, национальности. Но это бумажное равенство и свобода прикрывали совершившееся уже порабощение. Вскоре после Люблинской унии началась столетняя казацко-шляхетская война; она истощила силы обоих народов и привела, в конце концов, старую Польшу к гибели “от моря до моря”.

Характерную особенность Речи Посполитой в это время составляло резкое разделение народа на два класса: своевольствующее шляхетство и порабощенное хлопство. Правда, подобное разделение существовало в те времена повсюду в Европе; но едва ли можно указать другую страну, где бы противоположность между этими двумя общественными классами была так велика, как в старой Польше. И, что любопытно, причиной этому была не столько угнетенность и бесправность закрепощенного крестьянства, сколько чрезвычайная полноправность и независимость шляхетства. Крестьяне в Польше, как и везде, представляли тогда просто орудие производства, человеческий инвентарь владельческого поместья; они были порабощены, угнетены и отданы всецело во власть помещиков, как и везде; в этом отношении не было особенно значительного различия между “хлопами” различных стран Европы. Но шляхтич, пан, магнат являлся в Польше не только полновластным господином, феодалом, маленьким царьком в своих поместьях, но и полновластным, можно сказать, даже своевольным вершителем судеб всей Речи Посполитой. В века господства физической силы всякий действительно сильный человек, достаточно богатый, чтобы собрать около себя силу, достаточно отважный и предприимчивый, может стать вершителем судьбы своего отечества. Всем хорошо известны беспрестанные и кровопролитные распри королей с их якобы подданными феодалами – распри, заполняющие историю средних веков. Но нигде в Европе в ту пору, да и в позднейшие времена, отдельный представитель господствующего класса не пользовался таким безусловным правом решать судьбы своего отечества, как liberum veto[1] польского шляхтича, это всеуничтожающее “не позволю”, которым приостанавливалось любое решение сейма. Политическое право, как и политическое бесправие, является всегда выражением существующего соотношения между различными общественными силами; это – форма, получающая свое значение в зависимости от содержания, от материальной и

духовной жизни народа. Экономическая же и духовная жизнь польского общества в XVI веке стояла на чрезвычайно низком уровне развития. В экономическом отношении мы видим самое жестокое порабощение трудящегося класса, а в духовном – господство иезуитизма. Естественно, что и liberum veto, это, быть может, идеальнейшее из идеальных прав, питаемое, с одной стороны, экономическим, с другой – духовным насилием, превращается само в своего рода насилие – в безграничное своеволие. Нет такой алхимии, говорит Спенсер, при помощи которой из свинцовых инстинктов можно было бы создать золотое поведение. И политическая алхимия даже с ее liberum veto не могла выработать из польского шляхетства ничего, кроме своевольных насильников, в крови народной потопивших свою самобытность и самостоятельность.

Liberum veto лежало, так сказать, на самом дне той пропасти, которую польское шляхетство старательно рыло между собою и народом. Даже при полной национальной однородности государственного тела и единой религии такое глубокое разъединение общественных классов не обошлось бы без жестоких внутренних потрясений. Но Польша в XVI веке далеко не представляла единого тела. Русские и после присоединения к Польше продолжали сохранять свою национальность и религию, а они занимали тогда громадные пространства на востоке и юге Речи Посполитой. Правда, верхний слой русского народа стал быстро ополячиваться: он усваивал польскую культуру, переходил в католичество и получал все шляхетские права; но тем крепче простой народ стоял за свою национальность и веру, так как потеря того и другого означала бы бесповоротное обращение в хлопов. Экономические условия играли громадную роль, как в покладистости верхнего слоя, так и в строптивости и непримиримости нижнего. Национальная же и религиозная рознь снимала, так сказать, завесу с глаз и развязывала руки на борьбу.

В достатутовый период право на землю в Литовском княжестве принадлежало великому князю; поэтому землевладение было одинаково условно для всех частных лиц без исключения и не составляло, собственно, ничьей привилегии; все свободные сословия, а следовательно, и самое многочисленное из них, крестьяне, пользовались в этом отношении одинаковыми правами; все земли были обложены в пользу великого князя повинностями; большинство земледельческого населения сохраняло личную свободу, подчинялось общему суду или пользовалось своим общинным судом. Но со времени установления между Литовским княжеством и Польшей, в Литве и на Руси начинают распространяться польские порядки, и

положение крестьян значительно ухудшается. Первым делом из рук великого князя ускользает право собственности на землю; она становится фактически достоянием шляхты; к ней же переходят суд и расправа над крестьянами, превращающимися в “подданных” можновластного пана. Так, еще по статуту 1529 года “права крестьян на находящиеся в их владении земли, если не в силу положительного закона, то по обычаю, были более или менее обеспечены и прочны”. Но уже статут 1566 года начинает строго преследовать всякое притязание крестьян на участие в землевладении и гарантирует им только право на движимость. Этот процесс перехода земли в собственность шляхты и превращение свободного крестьянина в польского подданного, а вместе с тем и перехода всей юридической и административной власти в руки той же шляхты совершался быстрее в сопредельных с Польшею областях, в Литве, чем в Поднепровье и в отдаленных южных степях, куда медленно, но неуклонно подвигалась южнорусская колонизация. Поэтому и гнет шляхетского господства давал себя чувствовать гораздо сильнее в Полесье или на Волыни, чем на Украине. Порабощение литовских крестьян один современник сравнивает с татарской неволей и упрекает литовских панов за то, что они мучат, уродуют и убивают без всякого суда своих людей. Каково же вообще было положение крестьянина в Польше, лучше всего видно из свидетельств, оставленных современниками.

“Нет государства, – говорит в своих проповедях иезуит Скарга, – где бы подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас, под беспредельною властью шляхты. Разгневанный земянин (владелец) или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что у него есть, но и самого убьет, когда захочет и как захочет, и за то ни от кого слова дурного не потерпит”. “Крестьяне в Польше, – говорит другой современник, – мучатся, как в чистилище, в то время, как господа их блаженствуют, как в раю”.

Крестьянин отбывал панщину, отдавал детей своих в дворовую службу, трижды в год доставлял своему владельцу натурою зерно, всякую живность; со всего имущества (быков, лошадей, свиней, овец, меда и плодов) отдавал десятую часть; кроме того, это же имущество было обложено еще всевозможными пошлинами: *очковое* платилось с каждого улья, *рогатое* – *с* каждого вола, *ставщина* – за право ловить рыбу, *опасное* – за право пасти скот, *жолудное* – за право собирать желуди, *сухомельщина* – за помол муки; *дудок* платился при рождении ребенка, *поемщизна* – при женитьбе сына или выдаче замуж дочери и так далее. Одним словом, каждый шаг

крестьянина был обложен всевозможного рода платежами, деньгами и натурой в пользу пана.

Тем не менее театром казацко-шляхетской борьбы была именно Украина, то есть провинция, наименее сравнительно угнетенная панами, и именно потому, что народ здесь не был еще окончательно задавлен. Кроме того, Украина представляла самую отдаленную провинцию, почти неизвестную полякам; едва ли бы даже они могли указать пограничную линию, где оканчивались владения Польши и начинались кочевья татар. Это был, одним словом, обширнейший аванпост, занятый передовыми колонизационными отрядами южноруссов, возвращавшихся на свои стародавние пепелища, – аванпост, лишенный всяких удобств культурной жизни и где сама жизнь подвергалась беспрестанной опасности. Понятно, что такая страна, какой бы роскошью и богатством природы она ни отличалась, не могла представляться особенно заманчивой для шляхты. Затем Украина стала естественным средоточием всякого беглого и беспокойного люда, не ужившегося со шляхетскими распорядками во внутренних областях Речи Посполитой. Сюда бежал крестьянин от гнета шляхтича, горожанин – от притеснений старосты и воеводы, мелкий шляхтич – от самовольства магната, а в иных случаях даже магнат, подвергнувшийся баниции. Такой народ не мог, конечно, пассивно относиться к посягательствам на свой труд и свою свободу, а посягательства не замедлили проявиться, как только жизнь в этой пограничной области получила некоторую устойчивость. Так, в сеймовом постановлении 1590 года, изданном от имени короля, читаем:

“Государственные сословия обратили наше внимание на то обстоятельство, что ни государство, ни частные лица не извлекают никаких доходов из обширных, лежащих впусте, наших владений на украинском пограничье за Белой Церковью. Дабы тамошние земли не оставались пустыми и приносили какую-нибудь пользу, мы на основании представленного нам всеми сословиями права будем раздавать эти пустыни по нашему усмотрению в вечное владение лицам шляхетского происхождения за заслуги перед нами и Речью Посполитою”.

И действительно, со времени восстания Богдана Хмельницкого мы встречаем польских магнатов, довольно прочно осевших уже в левобережной Украине и захвативших здесь в свои руки десятки городов и сотни селений. Однако народ уходил на Украину не затем, чтобы спокойно надеть на себя ярмо панщины, когда шляхтичам вздумается прекратить те льготы, которыми они заманивали на поселенье. Здесь на полях свободолюбивой Украины южнорусский народ вступил в кровавую борьбу с

польской шляхтою. Кто же становится во главе этой народной борьбы? Кто подымает до ясно осознанной идеи смутные, инстинктивные стремления народа? Кто, наконец, организует борьбу и руководит ею? Южнорусская интеллигенция, лучшие люди своего народа, сохраняющие свою кровную связь с ним? Увы, – где она, эта южнорусская интеллигенция или, по тому времени, аристократия? Родовитых русинов прельстило положение польских магнатов, они потянулись к польской культуре, принимали католичество и совсем порывали связь со своим народом. Да кроме того, эта аристократия в описываемую эпоху вовсе не представляла уже лучших людей своего народа. Вот как отзываются современники о польском и ополячившемся дворянстве того времени~

"Никто не хочет жить трудом, – говорит Старовольский, – всяк норовит захватить чужое; легко достается оно, легко и спускается; всяк только о том думает, чтобы поразмашистее покутить; заработки убогих людей, собранные с их слезами, иногда со шкурой, истребляют они как гарпии или саранча: одна особа съедает в один день столько, сколько множество бедняков заработают в долгое время, все идет в дырявый мешок – брюхо"~ Или вот отзыв московского беглеца Курбского о польской аристократии. "Вельможи, – говорит он, – знают только пить да есть сладко; пьяные они очень храбры: берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился турок, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспятся, встанут чуть живы, с головною болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены своими женами, что, послышав варварское нахождение, забьются в претвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол, за кубки и болтают со своими пьяными бабами, из ворот же городских ни на шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагами и, походивши дня два или три, возвращаются домой и, что бедные жители успели спасти от татар в лесах, какое-нибудь имение или скот, – все поедят и последнее разграбят".

Таково было польское дворянство еще до восстания Богдана Хмельницкого, и эта характеристика вполне подтверждается многочисленными эпизодами из эпохи самого восстания. Таково было и русское дворянство. Естественно, что оно не только не могло руководить борьбой южнорусского народа, но даже не сочувствовало ей. Некоторые из панов оставались еще православными, и интересы веры не были им совершенно чужды; но лучшие из них были или уже слишком сдержаны, величаво-спокойны, как князь Острожский, или же увертливы и хитроумны,

как Адам Кисель. Можно сказать, что русской аристократии, верхнего культурного слоя как отдельного класса вообще уже не существовало в эпоху казацких войн. Поэтому нам и нечего сказать о ее роли в этом деле. Городскому сословию, довольно сплоченному и политически развитому благодаря своему древнему общинному быту, а затем магдебургскому праву, было мало дела до гнета, испытываемого крестьянством, и до всяких счетов между шляхтою и хлопством; а как люди ремесленные, коммерческие, они всегда занимали сторону порядка. Но тут затрагивался еще религиозный вопрос, шла борьба между православием и католицизмом, и в этом отношении горожане оказались не так покладисты, как дворяне. Они крепко стояли за свою веру и организовались в известные братства. О них мы скажем ниже. В политико-экономической же борьбе южнорусского народа они, горожане, как сословие не играли заметной роли.

Итак, народ, в узком смысле слова, был предоставлен собственным своим силам. Однако благодаря различным обстоятельствам у народа этого сложилась своеобразная организация, на которую и пала трудная задача вековой борьбы с сильным и победоносным некогда государством. Во главе народного движения стали казаки, и по мере того, как разгоралась борьба, крестьянство переходило все большими и большими массами в казачество. Были моменты, когда вся восставшая Украина казалась одним казацким станом и подчинялась единому казацкому режиму. Что же представляло собою казачество, как оно возникло?

С того времени, как татары завладели Крымским полуостровом и черноморским побережьем, южные окраины Польского государства, то есть русские области, подвергались беспрестанным опустошениям. Здесь не было никакой определенной резкой границы. Беспредельная степь, раскинувшаяся во все стороны, сохраняла еще почти всю свою первобытную дикость. Она то волновалась высокой густой травой, в которой легко мог укрыться всадник и которая кишела массой всякой дичи, то превращалась в безжизненную выжженную равнину. Нельзя сказать, чтобы она безмолвствовала, так как тысячи звуков, производимых насекомыми, птицами и т.п., сливались в один шум, но здесь редко раздавался голос человеческий. Вот пробирается татарский отряд на Украину. Всадники молча, медленно и осторожно продвигаются вперед. Каждый из них имеет запасных лошадей. Приближаясь к русским поселениям, отряд разделяется на четыре части: первая из них направляется на север, вторая – на юг, третья – на восток, четвертая – на запад; отъехав на некоторое расстояние, каждый

отряд разбивается на три группы и разъезжается в три разные стороны; затем каждая группа снова распадается на три шайки. Все это делается с той целью, чтобы быстро осмотреть местность и затем напасть врасплох на врага. Сделав свое дело, высмотрев местность, каждая шайка возвращается в условленное место и весь отряд выжидает удобного времени для нападения. Стремительно, с диким криком набрасываются татары на намеченные села, захватывают скот, имущество, людей и быстро бросаются в обратный путь. И степь умолкает. Притоптанная трава подымается, и трудно отыскать даже след недавнего набега. Татары составляли одну стихию со степью, и, чтобы успешно бороться с ними, необходимо было создать своеобразную организацию, совершенно отличную от обычной военной организации того времени.

По мере того, как русско-польская колонизация подвигалась все далее и далее на юг, столкновения с этими степняками, естественно, должны были все более и более учащаться. С одной стороны, татары не хотели знать никакой границы; они привыкли свободно кочевать по всей необъятной степи; с другой, – близость добычи, близость украинских поселений, надвигавшихся все ближе и ближе к их кочевьям, соблазняла и возбуждала татарскую удаль. В XV веке наиболее значительные набеги отмечены летописью под годами: 1416, 1447, 1452, 1453, 1457, 1462, 1469; в XVI веке – под годами 1516, 1532, 1537, 1538, 1550, 1558, 1566, 1593. Вообще же не проходило года, чтобы татарские загоны не появлялись в той или другой местности и не подвергали страну опустошению. В годы больших набегов татары творили, как выражается летопись, “многия пакости”. Они уводили по пять, восемь, пятнадцать, а случалось, и свыше пятидесяти тысяч человек в неволю. После набега 1593 года в Луцком повете оставалось до 1601 года разрушенными 269 местечек и селений.

К тому же эти хищники, причинявшие страшный материальный урон, были нехристи, были тем врагом, против которого ополчилась и вся католическая Европа. Они находились в зависимости от Турции и представляли, можно сказать, ее передовые полчища. Непримиримая борьба с ними считалась святым делом. Как там, в Европе, так и здесь, в украинских степях, лицом к лицу стояло два мира: мир христианский и мир мусульманский. И последний, воодушевленный дикой отвагой, с обнаженным мечом грозил покорить под власть Ислама неверных гяуров. Долго длилась эта борьба, больших жертв стоила она христианским народам. На долю нашей Украины выпала самая неблагодарная роль. Главная арена борьбы находилась в Средней

Европе: там были громкие победы и громкие поражения; там – герои, признанные историей и увенчанные лаврами. Что же касается Украины, то одно только небо да молчаливая степь со своими курганами были свидетелями ежедневной неустанной борьбы, которую выдерживали здесь наши предки. Серенькая, негромкая, неэффектная борьба эта требовала в действительности большей отваги, большего напряжения, чем шумные сражения громадных армий по ту сторону Карпатских гор. Но чего не сделали присяжные летописцы и историки, сделал сам народ. Он в своих думах воспел свою борьбу, свои страдания и победы, и эти думы останутся навеки лучшим памятником его былого героизма. Итак, мусульманский мир в лице степного хищника-татарина встретил должный отпор со стороны христианского мира в лице украинского казака, который долгое время вел, можно сказать, один борьбу с врагом и удерживал его натиск на Польшу, пока объединившаяся Русь не завладела самым его гнездом – Крымом.

Безлюдная степь со своим громадным простором, темно-синим небом и палящим солнцем, беззащитная граница; беспокойный враг – наездник, словно саранча налетавший на села и города; вера, делавшая борьбу упорной и придававшая ей возвышенный характер; наконец, отсутствие каких-либо систематических мероприятий со стороны Речи Посполитой для защиты степной границы, – вот условия, благодаря которым зарождается и развивается казачество. Далеко не сразу казачество нашло свой центр и приняло сколько-нибудь организованный вид. Сначала это были, вероятно, бродячие, случайно собиравшиеся ватаги удальцов, которые отваживались преследовать татар в безлюдной степи до самого их жилья. Боевая наездническая жизнь не располагала к земледельческому труду, а просторная, богатая роскошной растительностью степь манила каждого, кому только посчастливилось с добычей возвратиться назад. Там, в степи, можно было заняться скотоводством, звероловством, рыболовством в низовьях Днепра, наконец торговлей, – так как там же проходил путь из Турции и вообще побережья Черного моря в Московию и Польшу. И лихой наездник при известных обстоятельствах становился пастухом, рыболовом, торговцем и т. п. Эти своевольные ватаги на время своих предприятий составляли кош[2] и выбирали себе атамана, которому подчинялись безусловно.

Таким образом, среди пограничного украинского населения вошло в обыкновение *ходить в казаки.* Этой повадкой пользовались, между прочим, и старосты сторожевых королевских замков, а также приграничные магнаты. Они сзывали к себе охотников показаковать, нередко становились сами во главе

ватаги и ударяли на врага. В начале XVI столетия мы встречаем уже прямые указания летописцев на таких предводителей и устроителей казачества: это были – хмельницкий староста Ляндскоронский, черкасский и каневский староста Дашкевич и позднее Дмитрий Вишневецкий. Средоточием казачества становятся Черкассы, древнейший город южной Руси, и Канев. Все эти предводители принадлежали к людям “метным” (знатным), как выразился московский царь по поводу Дашкевича. Они поняли, какую службу могут сослужить казаки Польше в ее естественном движении на юг, к Черному морю, и обращались к правительству с предложением дать казачеству постоянную организацию; польский сейм одобрял сначала эти планы, проектировал устройство рыцарской школы за днепровскими порогами, но дальше разговоров дело не шло. Может быть, его пугало слишком независимое положение этих “метных” пограничников. Они позволяли себе свободно переходить со службы польскому королю на службу к московскому царю и даже турецкому султану. С другой стороны, казаки затевали свои набеги на татар, даже в Турцию, иногда совсем не вовремя для польского правительства: поляки заключают *вечный* мир, а казаки не унимаются и громят не только татарские кочевья, но и причерноморские города, находившиеся тогда во власти турок. Польское правительство не только не обнаруживало никакой охоты воспользоваться этим непреодолимым стремлением народа к казачеству в своих государственных интересах, но даже всячески старалось затормозить его. Но невозможно приостановить образование пара, если вы будете постоянно подбрасывать дрова под котел с водою. Панский гнет постепенно подвигался из внутренних областей на Украину; религиозная рознь между католиками и православными обострялась; русская национальность, представителями которой оставались крестьяне да духовенство с мещанами, попиралась. В ответ на все это народ все большими и большими массами уходил в казаки, рассыпался по степи, спускался к низовью Днепра и вел здесь кочевую, полуоседлую жизнь, в вечной тревоге за само свое существование, но зато, во всяком случае, вел жизнь вольную. Скоро само собой возникло и средоточие, центр этой вольной жизни. Чего не хотели сделать польские короли, сделал сам народ. Он устроил пониже днепровских порогов свою *Сечь Запорожскую*. “Сич – маты, а Велыкый Луг – батько, – говорили запорожцы, – там следует жить, там следует и умирать”. Действительно, Запорожская Сечь, свободно созданная самим народом и не регламентированная никаким внешним правительственным законом, была колыбелью, в которой вырастала казацкая свобода,

казацкая сила и казацкая слава. Без Запорожской Сечи трудно себе представить эти постоянные восстания, эту кровопролитную вековую борьбу; и положительно невозможно представить торжество разъединенного, угнетенного, лишенного своих лучших культурных сил народа над государством, хоть и повинном во всех смертных грехах шляхетского своеволия, но вместе с тем еще достаточно сильного, чтобы одерживать победы над внешним врагом. Вначале Сечь Запорожская служила, однако, для совершенно иной цели. Когда, собственно, возникла первая Сечь и как образовалась она, мы не знаем. Но кем бы ни пополнялась Сечь и по каким бы мотивам люди ни шли сюда, несомненно, что она представляла самый передовой оплот христианского земледельческого населения против мусульманских кочевых народов. Пока русский народ не вступил в смертельную борьбу с польской шляхтой, Сечь служила главным образом центром народной самозащиты от хищника “бусурманской” веры. Это был в своем роде монашеский орден, какой могло создать при данных условиях места и времени крестьянство во всей своей грубой непосредственности.

На Запорожье свободно мог приходить всякий, даже “бусурманин”; здесь никто не спрашивал у него документов; но, вступая в товарищество, всякий давал обет воевать за христианскую веру и биться против ее врагов. В этом отношении характерно обычное воззвание, с каким казаки обращались к народу, затевая поход против татар или турок. “Кто хочет за христианскую веру быть посаженным на кол, – взывали они, – кто хочет быть четвертован, колесован, кто готов принять всякие муки за святой крест, кто не боится смерти, приставай к нам!” Тут дело шло не о “панстве великом” и не о “лакомстве несчастном”, как говорится в одной украинской народной думе, а о самой смерти. От желавших поступить в товарищество не требовали никаких вкладов, никакого имущества; все это была в подавляющей массе настоящая голь; недвижимая собственность не признавалась вовсе, движимою же (каковую составляло награбленное добро, а позднее – скот у тех, кто проживал в так называемых паланках) каждый распоряжался по своему усмотрению. В товарищество поступали и холостые, и женатые, но никому под страхом смертной казни не дозволялось приводить женщин на Сечь; здесь соблюдалось полное целомудрие: за блуд жестоко наказывали палочными ударами. Воровство также преследовалось беспощадно: “За едино путо вешают на древе”. Самое бесчеловечное насилие и разбой дозволялись на войне, но за нападения на мирные христианские поселения карали смертной казнью. Жили сечевые запорожцы в куренях, длинных

казармах, выстроенных из дерева. “Вот тоби и домовина”, – говорил куренной атаман новичку, отводя ему место в три аршина длины и два аршина ширины. Каждый курень имел своего кашевара, и трапеза совершалась за общим столом. Пища была самая простая: соломаха, тетеря и щерба (ржаная мука, вода и рыба в различных соединениях) – вот и все обычные деликатесы их стола. Зато разного рода “пьяные напитки” выпивались в изрядном количестве, в особенности после удачных походов. Все внутренние распорядки покоились на общинном начале “товарищества”. На общей раде, вече, каждый запорожец имел одинаковый голос; здесь соблюдалось полнейшее равенство между всеми, начиная с сечевой “старшины” и кончая простой “сироматней”. Все важнейшие вопросы решались радой, она же выбирала начальников: кошевого атамана, полкового писаря, есаулов и так далее. Во всех случаях строго проводилось подчинение избранным лицам; но эти последние, не исключая и кошевого атамана, во-первых, действовали на виду всего товарищества, а во-вторых, должны были отдавать отчет по окончании своих полномочии. С течением времени жизнь Запорожской Сечи развивалась, усложнялась, – развивался и ее правительственный механизм. Здесь мы отметили только существенные черты, которые обнаружились на первых же порах. Кроме собственно Сечи, многие казаки, принадлежавшие к “славному войску запорожскому”, жили по хуторам на землях, входивших в состав войсковых вольностей. Здесь они могли вести уже семейную жизнь и заниматься земледельческим хозяйством. Территория же, принадлежавшая войску запорожскому в позднейшую эпоху (при Екатерине), занимала всю теперешнюю Екатеринославскую губернию, три примыкающих уезда Херсонской, часть Днепровского уезда – Таврической и часть Изюмского – Харьковской губерний. Как видите, это было целое маленькое государство, казацкая республика, первоначальную ячейку которого составляло нечто вроде монашеского ордена, – государство, предпринимавшее на свой страх войны и дружившее, с кем хотело: с Польшею, Московиею, Туречиной. Кулиш следующим образом характеризует общий склад запорожского товарищества:

“Мрачное чувство отчуждения от света и обычных утех сказывалось в запорожском быту. Запорожская веселость, которою низовые братчики гордились и хвалились, которую вменяли молодежи своей в обязанность, была веселость трагическая, происходящая от разочарования в жизни, и постоянно сопровождалась ирониею или сарказмом в знак презрения к ее обманчивым благам. Опасность висела у запорожца над головой

каждую минуту, жизнь его была крайне необеспечена, и отсюда равнодушие к смерти, которым запорожские казаки постоянно удивляли своих наблюдателей. В основе сечевого братства лежал своего рода аскетизм. Он выражался, главным образом, в готовности к смерти, в спартанском перенесении физических страданий, в совершенном равнодушии ко всему, чем дорожит человек в быту обыкновенном".

Запорожская Сечь несколько раз меняла свое место после неудачной попытки Вишневецкого устроить ее на острове Хортице, но всегда располагалась ниже днепровских порогов. Сечь составляла центр, куда уходили люди, почему-либо вынужденные покинуть свои отцовские "грунты". Но, кроме Запорожья, масса казаков проживала на Украине, в нынешних Киевской, Полтавской губерниях и южной части Подольской.

Стефан Баторий (1575 – 1586 гг.), вступив на польский престол, обратил серьезное внимание на казачество, уже сильно развившееся к тому времени и не хотевшее признавать никаких польских властей. Но время было упущено, чтобы совладать с казаками и заставить их служить на пользу польской народности: во-первых, их было много, во-вторых, они привыкли уже к свободе. Баторий попробовал применить известное правило: разъединяй и властвуй. Он предписал составить реестр казакам и определил число их всего только в шесть тысяч; их гетману Федору Богданке он послал в знак своей благосклонности бунчук, булаву, знамя, войсковую печать и утверждение как гетмана, так и старшин. Все же остальные казаки должны были мало-помалу обратиться опять в хлопов. Но этот маневр не удался. Признанные казаки, в лице своего гетмана, благодарили за присланные подарки, но продолжали держаться независимо и не признавали над собой начальства польского главнокомандующего. Без разрешения короля они отправились под предводительством Подковы на войну с турками и овладели Молдавией, находившеюся в вассальной зависимости от Турции. Султан требовал, чтобы король унял своих казаков. Но польский коронный гетман не в состоянии был сделать это. Наконец уговорили Подкову ехать к королю и оправдать свои действия, причем ему гарантировалась безопасность. Однако король не принял его, а велел заковать в оковы и затем казнить. Казаки не могли примириться с таким вероломством и готовы были воспользоваться первым случаем, чтобы отомстить полякам. Таким образом, взаимная вражда разгоралась. Преемник Батория, Сигизмунд III (1587 – 1632), еще круче взялся за стеснение казацких вольностей. Так как мещане и хлопы продолжали уходить в казаки, то постановлено было завести особых

урядников, которые наблюдали бы, чтобы никто не бегал на Сечь и вообще в понизовье Днепра, и с целью пресечения таких попыток построить на Днепре городок. Запрещалось продавать простому народу оружие и всякие военные припасы: порох, селитру и тому подобное. Наконец, отменялось казацкое выборное начало: казаки должны были находиться под властью коронного гетмана, назначаемого королем, а коронный гетман назначает уже по своему усмотрению казацкую старшину. Все это можно было проделать с реестровыми казаками, но как было совладать с той массой непризнанного казачества, которая, в свою очередь, не хотела признавать никаких распоряжений короля, отвечала на них восстаниями и к которой, однако, неудержимо тянулся весь народ?

Мы знаем, как усиливался постепенно экономический гнет в Южной и Юго-Западной Руси, как русские дворяне переродились в польских магнатов и шляхтичей, а народ – в хлопов, как стеснялась свобода того многочисленного класса, который не превращался ни в шляхту, ни в хлопство и, оставаясь самобытным, готов был всякую минуту отстаивать свою независимость с оружием в руках. Наряду с этими причинами, вызывавшими непримиримую вражду между Русью и Польшею, следует поставить еще одну: посягательство на совесть, это одно из возмутительнейших проявлений насилия. Поляки, разжигаемые иезуитами, хотели всех русских сделать католиками, с каковой целью задумали устроить церковную унию. Русское дворянство противилось ей, но оно было уже ослаблено переходами знатнейших фамилии в католичество. Православное духовенство находилось в дезорганизованном состоянии. Король пользовался неограниченным правом раздавать епископии и монастыри. Эти места расхватывали обыкновенно шляхтичи знатных фамилий, преследуя одни материальные интересы. Иногда на одно и то же место оказывалось несколько претендентов, и они вступали между собою в открытый бой. Ничего нет странного, что такие епископы распоряжались церковным имуществом как своей собственностью, отдавали его в приданое за дочерьми и так далее; они не прочь были заняться даже грабежом, делали наезды на шляхтичей, оказывали вооруженное сопротивление предписаниям короля. Интересы же православия и народа для них были делом последним. Польские магнаты и польские прелаты могли в своей католической ревности доходить до геркулесовых столбов. Так, луцкий староста Симашко приказывает брать “мыто” за вход в соборную церковь с духовенства и народа, по грошу и по два гроша с человека, или даже вовсе не пускать в церковь; в

страстную субботу и святое воскресенье он устраивает в притворах церкви танцы и иные игры, а гайдукам своим приказывает стрелять в церковный купол и крест. Жалобы епископа оставались без последствий. Ему прямо дают почувствовать, что надо принять унию, – и тогда все преследования прекратятся. Нужно было обладать ясной совестью и сильной волей, чтобы упорствовать при таких условиях. Наконец, высшие православные иерархи – Тарлецкий, Потей и другие – учинили, хотя и фальсифицированную, унию. В 1594 году епископ Луцкий со всем соборным духовенством внес в городские актовые книги документ, в котором, между прочим, говорится:

“По воле и промышлению Бога, в Троице ставимого, и по усердному старанию и побуждению короля, его милости, пана нашего милостивого Сигизмунда III, и их милостей панов сенаторов, духовных и светских, совершилось давно желанное соединение и восстановилась братская любовь между двумя церквами, восточной и западной, с признанием святейшего папы римского верховным пастырем и наместником апостольским”.

А в 1595 году Сигизмунд III издал манифест. Из него явствует не только религиозное, но и политическое значение унии как действительного средства для слияния двух народов.

“Наше величайшее желание, – говорит король, – состоит в том, чтобы мы могли пребывать со своими подданными в единой вселенской церкви, под одним истинным пастырем, чтобы славить Бога едиными устами и единым сердцем, чтобы, пребывая в таком соединении, по долгу христианства водворять в народах одной и нераздельной Речи Посполитой согласие, единство и любовь, эти верховные и общие блага, и чтобы тем *сохранить и укрепить целость государственного союза”.*

Весть об унии вызвала всеобщий ропот и негодование среди русских. Поместные дворяне, придерживавшиеся еще православия, отправляя на генеральный сейм (1596 года) депутатов, поручили им просить короля, чтобы епископы, отступившие от православной веры, были лишены сана и на место их назначены новые. Оппозиция, как видим, весьма скромная. Во главе ее становится князь Константин Острожский. Но король отверг эту просьбу. Тогда русские депутаты написали протест, в котором изложили притеснения и обиды, претерпеваемые русским православным народом. Сейм не допустил чтения этого протеста. Польская конституция делала возможным еще один выход. Протесты и просьбы были занесены в актовые книги, с них сняты копии и разосланы по воеводствам. Таким образом, депутаты представляли дело на усмотрение всего

народа. Это было нечто вроде обращения к народу, в котором происходило уже сильное брожение и даже открытое возмущение. Сигизмунд не отступал от своего “душеспасительного” дела и еще настойчивее стал стремиться к осуществлению унии. Он велел митрополиту Киевскому Михаилу Рогозе созвать немедленно собор в Бресте и решить окончательно всеобщее присоединение. К участию на этот собор были допущены все подданные православного исповедания. Съехалось множество духовных и светских лиц. Собор разбился на две партии: сторонников православия и сторонников унии. Каждая из них заседала отдельно и постановила прямо противоположные решения. Православные лишили митрополита и епископов, изменивших православию, сана и власти, постановили просить короля не делать насилия над русским народом, опубликовать декрет о низложении принявших унию иереев и предложить повитовым сеймам отправить на общий сейм и к королю депутатов все с теми же просьбами. Сторонники же унии торжественно признали соединение церквей под верховенством папы, лишили сана епископов, не признавших унии, и прокляли их и их сообщников.

Дворянство больше шумело; да едва ли оно, уже в значительной степени распропагандированное иезуитами, и могло оказать какое-нибудь более решительное противодействие. Духовенство распалось надвое: низшее хотя и крепко стояло за православие, но не имело силы, а высшее больше тянуло к унии. Городское сословие в политическом отношении было бессильно. В своих местных делах оно пользовалось самоуправлением. Но вопрос об унии был вопросом общегосударственным, и, конечно, у мещан не спросили, желают ли они принять ее. Однако как люди, всецело приверженные еще религии своих отцов, они не могли пассивно отнестись к насилию над своею религиозной совестью. Все, что они могли сделать, не выходя из своего круга, – это блюсти православие в своем приходе, наблюдать за духовными пастырями, отражать всякие вылазки со стороны униатов или католиков, пытавшихся при случае насильно завладеть церковным имуществом, открывать православные школы и так далее. Братства – например, львовское, виленское и другие – представляли именно такие общины, при посредстве которых мещане выступали на защиту своих религиозных интересов. Однако, как бы ни было существенно значение этих братств, в борьбе русского народа с шляхетско-католическим миром главная роль принадлежит не им. Религиозные гонения и притеснения только разожгли новым светом ту борьбу, которую казаки и простой народ, превращавшийся в минуты восстания в казаков, вели со шляхтою и целой Речью Посполитой вследствие

стеснения прежних вольностей и экономического угнетения. Отдельные вспышки недовольства, отчаянные взрывы негодования, страшная месть, насилие за насилие, изуверство за изуверство, – все это благодаря религиозному элементу получало, во-первых, всеобщий, а во-вторых, – более возвышенный характер. Религиозные притеснения подсушили отсыревший порох экономического недовольства, и Украина запылала от Львова и Люблина до побережий Псла и Ворсклы. Об этих отдельных вспышках, первое проявление которых почти совпадает с провозглашением церковной унии и которые послужили как бы подготовительной школой к великому восстанию при Хмельницком, нам необходимо упомянуть хотя бы самым беглым образом.

Восстания против панов чередовались с отважными морскими походами против турок и разгромом побережных турецких городов. Словно какой-то неукротимый дух овладел народом и неотступно требовал кровавых разрушительных дел. В 1593 году во главе восстания становится шляхтич *Косинский.* К нему стекаются толпы казаков и хлопов из Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств. Он разоряет панские имения; при этом обязательно захватывает всякие документы, “привилегии и мемброны” и предает их огню. “Какие документы, – говорили мятежники, – земля – наша! Мы отстояли ее от орды, нам она и принадлежит!” Косинский погиб. В предупреждении подобных вспышек сейм принял ряд стеснительных мер. Самовольные сборища, “купы”, производящие бесчинства, были объявлены вне закона, и каждый имел право, не дожидаясь никакого разрешения, уничтожать их собственными усилиями, а также ловить беглых хлопов и приневоливать их к труду, пока не отыщется владелец. В 1596 году во главе восстания становятся *Лобода* и *Наливайко.* К восстанию этому имел, по-видимому, какое-то отношение и князь Острожский, защитник православия. Наливайко, красавец и храбрец, душа восстания, громит и грабит преимущественно двух поборников унии, Кирилла Тарлецкого и Симашко, и находит безопасный приют во владениях упомянутого князя, у которого брат его служил в качестве домашнего священника. Наливайко заставила взяться за оружие личная обида: магнат Калиновский отнял землю у его отца и избил последнего так, что тот умер от побоев. “А ведь он у меня *один* был! – восклицает Наливайко в оправдательном письме к королю. – Один! И паны отняли его! Кто может возвратить сыну отца! Или паны не понимают, что подобные преступления не прощаются~” Когда и это восстание было подавлено, масса казаков и хлопов устремилась на Запорожье и отсюда

предпринимала дерзкие походы против турок и татар, ходила "заживать, – как говорилось тогда, – рыцарской славы". Походами против турок в особенности прославился знаменитый казацкий предводитель и весьма крупная личность – Петр *Конашевич-Сагайдачный.* При нем казаки отваживались переплывать Черное море, нападали на побережные города Малой Азии, появлялись в окрестностях самой столицы и "окуривали мушкатным дымом" твердыню мусульманского владычества в Европе. Поляки ничего не могли поделать с ними. Они ограничивали число реестровых казаков, низводили его всего до одной тысячи; но все эти ограничения оставались на бумаге. Наконец, в критическую минуту во время войны с Москвою сам король вынужден был обратиться за помощью к казакам, и двадцатитысячное казацкое войско под предводительством Сагайдачного спасло королевича Владислава от неминуемой гибели под Можайском. Сагайдачный весьма умело воспользовался этой услугой. Правда, он удерживал казаков от восстания против панства, но в то же время упорядочил их внутренний быт, отстоял их независимость от польских властей, значительно увеличил их численность и, что в особенности важно, восстановил православную иерархию, воспользовавшись проездом через Киев иерусалимского патриарха, который посвятил в сан киевского митрополита Иова Борецкого; таким образом, русское духовенство получило снова независимую организацию и могло вступить в борьбу с римско-католической пропагандой. Эти мирные успехи привели к тому, что в 1625 году казаки выступили перед сеймом с довольно смелыми требованиями относительно обеспечения древней православной веры, казацких вольностей и тому подобного. Поляки послали против них войско и принудили их подписать Кураковский договор на урочище Медвежьи Лозы, в силу которого число реестровых казаков снова низводилось до шести тысяч; им запрещалось ходить на море, заключать договоры с соседними державами, вмешиваться в дела, не относящиеся к войску; дозволялось жить в панских имениях только с согласия владельца; войско ставилось снова под власть гетмана, утверждаемого королем. Исключенные из реестра ("выписчики") не могли примириться с таким договором. Они по-прежнему предпринимали морские походы и в 1630 году подняли восстание под предводительством *Тараса Федоровича,* но реестровые казаки, по-видимому, не поддержали его; он попал в руки врагам и был казнен. В 1632 году умер король, и казаки посылали послов на сейм; они заявляли свое желание видеть на польском престоле королевича Владислава. "Всем известно, – говорили они, – что мы в царствование покойного короля терпели большие

несправедливости, неслыханные оскорбления и находились в великом огорчении оттого, что униаты вступают в наши права и вольности, пользуясь покровительством некоторых знатных особ, причиняют много утеснений нам, казакам, и всему русскому народу". Изложив свои требования относительно "обеспечения веры", они заканчивают так: "Если же, сохрани Боже, сталось бы иначе, то мы принуждены будем искать других мер удовлетворения, а мы того не желаем~" Домогательство казаков участвовать в выборе короля было встречено панами крайне недружелюбно. "Одному только шляхетскому сословию Речи Посполитой, – отвечали они, – принадлежит право избрания короля; что же касается греческой религии, то паны сенаторы сумеют найти верные средства, ведущие к успокоению недоразумении и к удовлетворению последователей греческой религии". Казакам не понравился такой ответ. "Как ни прискорбно для нас, – говорят они на следующем сейме, – то обстоятельство, что нас удаляют от избирательства, но еще прискорбнее, что вот уже более тридцати лет каждый сейм молим и слезно просим об успокоении нашей древней греческой церкви; ~но нас водили, откладывали решение дела от сейма до сейма~ Теперь мы поручаем нашим послам слезно просить Речь Посполитую и усиленно домогаться, чтобы наш русский народ оставался при своих правах и свободе~". Затем они жаловались на разные нарушения казацких прав и требовали восстановления их. Между тем поляки, чтобы удержать казаков от морских походов, выстроили на Днепре небольшую крепость Кодак. Некто *Сулима,* возвращаясь в 1635 году из похода, напал на нее и уничтожил весь гарнизон. Вспыхнуло восстание. К Сулиме стекались толпы выписчиков и хлопов, но реестровые казаки не поддержали восставших. Они хитростью проникли в табор Сулимы, схватили его и выдали полякам. Их похвалили за верность – и только. Казаки снова и снова посылали послов на сейм, заявляли свои неудовольствия и требования; паны снаряжали комиссии, вели переговоры, стращали их мечом. Тем временем выискался новый предводитель. В 1637 году Карп Павлович Гудзан, известный под именем *Павлюк,* возвратившись из похода против татар и узнав, что делается на Украине, напал на Черкассы, главный центр реестрового казачества, захватил пушки и перевез их на Запорожье. Затем он обратился к народу с воззваньем, в котором приглашал всех идти в казаки. Скоро на его сторону стали переходить и реестровые полки. Восстание разгорелось по обе стороны Днепра. На мирные предложения панов казаки отвечали, что они "уже не позволят более выписывать себя, уменьшать свое сословие да дурачить себя

комиссиями”. Однако под Кумейками, а затем Боровицею они были жестоко разбиты. В казацком лагере обнаружился роковой разлад, реестровые принесли повинную и выдали полякам предводителей Павлюка и Томиленка; другие успели бежать. Потоцкий, коронный гетман, нещадно казнил попавшихся ему в руки казаков и кричал: “Теперь я сделаю из вас восковых!” Сейм порешил лишить казаков разных привилегий, дарованных прежними королями, а со временем уничтожить даже самое их существование. Но бежавшие *Острянин, Скидан* и *Гуня* снова собрали разбитые и разогнанные толпы народа и в следующем же 1638 году восстание вспыхнуло с новой силой в левобережной Украине. Здесь, под Голтвою, Лубнами и в особенности в устье Старицы, казаки с замечательным упорством и отвагой отражали нападения поляков, но, лишенные возможности перейти в наступление и обессиленные голодом, принуждены были сдаться на усмотрение победителей. Несколько месяцев спустя казацкая рада собралась на урочище Маслов Став слушать решение короля и Речи Посполитой. Казаки не смели просить теперь о вольностях и привилегиях. Благо, если победители оставят им жизнь и имущество. Так и случилось. Паны лишили их прежних прав и даже права иметь выборную старшину. Они старались низвести казаков до почти хлопского состояния. “Ни чести им (казакам), ни славы не было, – говорит украинский летописец, – беда их сталась хуже турецкой неволи, полковники и все старшины-шляхтичи обращались с ними как с рабами, приказывали топить себе печи, ходить за лошадьми и собаками, чистить дворы их~”

Прошло десять лет, прежде чем народ собрался снова с силами и появился новый вождь, на этот раз не только *отважный,* но и достаточно *способный* для того, чтобы сплотить все народные силы и воспользоваться всеми благоприятными обстоятельствами в интересах освобождения южнорусского народа из польско-шляхетской неволи~

# Глава II. Казацкий батько – Богдан Хмельницкий

***Памятник Хмельницкому в Киеве. – Происхождение Хмельницкого. – Его отец. – Воспитание. – Под Цецорою. – В плену. – На родине. – Сношения Владислава с казаками. – Похищение королевской привилегии. – Женщина. – Наезд Чаплинского. – Тяжба с Чаплинским. – На законном основании. – Конец колебаниям. – Личные чувства: женитьба Тимоша; гибель Тимоша. – Наследственное гетманство. – Дипломатничанье***

На Софийской площади в Киеве гарцует медный всадник. На крепкой небольшой лошади восседает чья-то мощная фигура с протянутой на восток рукой. В глазах и чертах лица всадника, несмотря на всю тяжесть меди, просвечивают решительность, непреклонность, суровость, граничащая даже с жестокостью; вообще от всей фигуры веет дикой, неукротимой *силой.* Толпы богомольцев проходят мимо всадника, останавливаются с удивлением, осматривают памятник со всех сторон и идут дальше. Ни мысли, ни чувства, которые показывали бы, что между этим медным всадником и живой толпой народа сохраняется какая-нибудь связь. Народной массе, по-видимому, стал совершенно чуждым герой ее кровавой борьбы. Что ей гетман Богдан Хмельницкий, когда он, народ, точно сквозь сон вспоминает о самой вековой борьбе, о деле, за которое он пролил реки крови? Правда, изредка вы можете еще услышать из уст стариков сказания о давно минувших делах, вам пропоют какую-нибудь историческую думу, исполненную глубокого смысла и трогательной прелести; но, повторяю, народ в массе втянулся в новую жизнь и поглощен новыми интересами; возвращение же к старине сознательным путем, возникновение той новизны, в которой, по меткому выражению старообрядцев, слышалась бы давняя старина, – это еще дело будущего. И памятник Богдану Хмельницкому, эта грандиозная эмблема казачества, поставленная на виду у всех, будет, несомненно, содействовать пробуждению такого сознания.

Богдан Хмельницкий был сыном своего народа и своего времени. Он происходил из безвестной казацкой семьи, правда, несколько уже поднявшейся из рядового казачества, так как отец его, Михаил Хмельницкий, был чигиринским сотником, то есть принадлежал к казацкой “старшине”; но, во-первых, сотники составляли самый низший ранг старшины, и во-вторых, в те

времена старшина очень мало чем отличалась от рядового казачества. Существуют, впрочем, свидетельства, что более отдаленные предки его принадлежали к шляхетскому сословию. Мы не можем, конечно, придавать значения позднейшим измышлениям о происхождении Хмельницкого от молдаванского рода Богданов, властвовавших в Молдавии в XV веке, и т. п. При добром желании нетрудно вывести какую угодно генеалогию. Мы, понятно, говорим только о том, что достоверно известно. Безвестность происхождения Богдана настолько велика, что мы не знаем ни года его рождения, ни матери, ни детства. Там, в безвестной народной среде и безвестной местности, на далекой окраине, на границе беспредельной степи, среди вечных тревог и опасностей, родился и вырос будущий герой кровавой казацкой эпопеи. Отец его, как мы сказали, был чигиринским сотником; он владел хутором Суботовым, подаренным ему за военные заслуги. У сотника, очевидно, был уже некоторый материальный достаток и некоторая культурность. Сын его, Богдан, получил довольно порядочное по тому времени образование, сначала в киевской братской школе, а затем, по словам польских историков, в иезуитской коллегии в Ярославле (Галицком). Он владел польским и латинским языками, а со временем научился турецкому и, говорят, даже французскому языку. Мы не знаем, какую пользу извлек Богдан из знания латинского и французского языков для своего ума и сердца. В период же его десятилетнего руководства казацким восстанием мы видим большой природный ум и не замечаем почти никаких следов этой внешней образованности. Для того чтобы быть народным вождем, требуется нечто гораздо посущественнее латыни и каких угодно языков, и что в этом отношении дала школа Богдану, и дала ли что, мы совершенно не знаем.

В первый раз мы слышим о Хмельницком как участнике польско-турецкой войны (1620 – 1621 годы). Вероятно, Богдан был тогда еще юношей. Он отправился в поход вместе со своим отцом. Здесь он знакомится с военным делом под руководством знаменитого польского полководца Жолкевского; знакомится с искусством отступления по труднопроходимым местам, перерезанным болотистыми балками и байраками, искусством составлять подвижной табор из повозок и т. д. Кроме того, здесь “~он видел впервые, – говорит историк Кулиш, – как мало солидарны между собою паны, из которых каждый смотрел венценосцем. Он видел впервые, к чему способен казак, питающийся саламатою. Он видел в первый и, конечно, в последний раз, как много может делать один человек, употребивший 44 года на то, чтобы, по его собственному

выражению, держать на своих плечах всю Речь Посполитую". Поход окончился страшным поражением поляков под Цецорою, где был убит сам гетман и Михаил Хмельницкий, а Богдан вместе со многими польскими магнатами и шляхтичами взят в плен. Пленников, кого познатнее, турки посадили в башню в ожидании выкупа, а остальных, по обычаям того времени, вывели на рынок и продали в рабство. Богдан попал к какому-то богатому турку, у которого пробыл около двух лет. Как он жил в неволе, достоверных сведений, к сожалению, не сохранилось. Несомненно, что за это время он успел хорошо ознакомиться с турецкими обычаями и нравами, изучил турецкий язык, но, по-видимому, не испытал той тяжелой бусурманской неволи, какая оплакивается в народных думах "Невольничий плач", "Про Кишку Самийла" и других. Выкупился ли Богдан или бежал из неволи, остается неизвестным. Неизвестна также и его жизнь по возвращении. Существуют указания, что он принимал участие в морских походах запорожцев на турецкие города. Упоминается также об его участии в войне Владислава с Москвою. Но, во всяком случае, он, по-видимому, не принимал особенно деятельного участия в народных восстаниях против польской шляхты, которые следовали одно за другим, постоянно разрастаясь. Затем мы встречаем его снова на родине – в чине чигиринского сотника. Он унаследовал от отца хутор Суботов, женился на Анне Сомковне из Переяславля и занялся хозяйством. Это не значит, что он предался мирным занятиям. В тех пограничных областях каждую пядь обработанной земли приходилось прикрывать вооруженной рукой, и чигиринскому сотнику нередко, вероятно, случалось отражать татарские набеги и подстерегать врага в безлюдных степях. Как бы там ни было, Богдан не заботился о "карьере",не искал покровительства магнатов и других шляхтичей. А он не был лишен талантов, которые могли бы выдвинуть его, и не принадлежал к хлопам, которым никакие небесные и земные силы не могли помочь в те времена подняться на общественные верхи. Нет, Богдану Хмельницкому не нужны были громкие дела, он не мечтал о подвигах, чтобы прославиться. Его манила скорее мирная жизнь. Все же у него был хутор, было сравнительно большое хозяйство, были стада скота и табуны лошадей. И он дорожил этим. Он не сочувствовал, конечно, панскому гнету и стеснению казаков. Поэтому мы и встречаем его в качестве депутата, отправляемого казаками с разными просьбами к королю или на сейм, – то в качестве войскового писаря, подписывающегося под решениями рады, то даже с оружием в руках – в рядах прочего реестрового казачества, увлеченного народным потоком в борьбу со шляхтой.

Но все это были, так сказать, свои семейные раздоры. Польские паны ведь тоже устраивали нередко наезды одни на других, составляли конфедерации и т.п., и все это не мешало им, однако, признавать неделимость Речи Посполитой и нерушимость ее общественного строя. Чигиринский сотник, одним словом, не злоумышлял ни против королевской власти, ни против целости польского королевства, ни против шляхты. Он не прочь был показаковать за счет татарвы, разгромить где-нибудь на море турецкие галеры, навести страх на самого падишаха. Всякое истинно казацкое сердце горело желанием померяться силами с бусурманином. Пусть только паны-шляхта не мешают казакам в этом деле и пусть они не посягают на казацкие вольности. Казаки же, в свою очередь, готовы помогать панам держать в повиновении своевольных хлопов и всегда будут биться вместе с ними против бусурман, Москвы и кого бы то ни пришлось. И чигиринский сотник, просвещенный латынью и понимавший французскую речь, вероятно, менее всякого другого из казацкой старшины сочувствовал буйству черни. С годами воинственный пыл уходил, и спокойная жизнь в Суботове получала все большую цену. Для человека, которому перевалило за 45 лет, перспектива скитальческой жизни, исполненной жестоких лишений и неуверенности в завтрашнем дне, не могла особенно улыбаться. Богдан мирно встретил бы свою старость и умер бы безвестным сотником, если бы преследования со стороны польской шляхты не сделали для него лично невозможным дальнейшую жизнь в Суботове и не вынудили его бежать на Запорожье и искать защиты у сечевого товарищества. Было тут еще одно обстоятельство. Нельзя сказать, чтобы история вполне раскрыла его, но что оно было, это несомненно.

Когда Владислав был еще королевичем, то между ним и казаками существовали какие-то тайные сношения. Казаки настойчиво выражали свое желание видеть его на польском престоле. “Если же, – писали они ему в своем послании, – сохрани Бог, кто-нибудь будет препятствовать вашему величеству получить престол отца вашего, то мы обязываемся жертвовать своим достоянием и жизнью за ваше величество”. Владислав, сделавшись королем, благоволил к казакам и не прочь был при помощи их обуздать своевольную шляхту. В особенности же он нуждался в содействии казаков для того, чтобы начать войну с турками, о которой он мечтал, как о святом деле. В переговорах с Владиславом принимал участие, между прочим, и Богдан Хмельницкий; рассказывают, что он ездил с разными поручениями от короля даже во Францию. В 1646 году Владислав, побуждая казаков к открытию военных действий против турок,

выдал им тайную грамоту на восстановление казацких прав, послал красное адамашковое знамя с изображением белого орла, деньги и приказал строить чайки. Эту грамоту, “привилегию”, казацкая старшина припрятала от казаков ввиду тех соображений, что ей, старшине, выгоднее было, как говорится, в думе, “из ляхамы, мостывымы панамы, з успокоем хлиб-силь по вик вичный ужываты”. По каким побуждениям – неизвестно, Хмельницкий задумал выкрасть эту грамоту, хранившуюся, по рассказам одних, у казацкого старшого Барабаша, а по рассказам других – у Ильяша. Вероятнее всего, что у Богдана уже тогда обострялись отношения со шляхтичем Чаплинским и он предчувствовал, что добром для него возникшая личная распря не кончится.

Он устраивает в своем хуторе Суботове пир, сзывает казацкую старшину и, когда гости изрядно подвыпили, начинает с Барабашом разговор в таком роде:

“Что ты, любезный кум, держишь лист королевский, – говорит он, – дай мне прочитать его теперь”. – “На что тебе, куманек, читать его, – отвечает тот спьяну откровенно, – мы податей не платим, в войске польском не служим. Лучше нам, начальникам, брать деньги без счету да дорогие сукна без меры, чем, потакая черни, таскаться по лесам да буеракам, да своим же телом комаров, как медведей, кормить”.

Хмельницкий одобряет мудрые соображения старшого и подливает ему еще вина; скоро тот валится с ног и засыпает. Тогда Хмельницкий берет у него шапку и платок, зовет своего джуру (джура – молодой казак вроде пажа) и говорит ему:

“Скорей садись на лошадь и спеши к панье Барабашихе и скажи, что ее пан приказал отдать тот лист, который получил от короля”.

Джура ночью прискакал в Черкассы. Барабашиха спала и, пробужденная стуком, выскочила.

“Пани, – сказал джура, – заспорил мой пан с твоим паном, передерутся; так он прислал, чтобы вы дали те права, которые присланы от короля”. – “На горе себе он вздумал с Хмельницким гулять, – отвечала испуганная Барабашиха, – вот там в стене под воротами, в глухом конце, в ящичке в земле”.

Джура отыскал погребец и доставил привилегию Хмельницкому, который и держал ее с тех пор у себя. Это подзадоривание со стороны короля, эти “королевские листы” о правах и вольностях в то время, когда повсюду обнаруживались необычайное брожение и шаткость, несомненно оказывали влияние даже на самые нерешительные умы. Достаточно было самой незначительной капли, чтобы чаша терпения переполнилась, чтобы человек стал в ряды открытых мятежников

и обнажил свой меч. На голову же Богдана обрушился целый ряд личных бед.

Пожалуй, что и в данном случае дело началось из-за женщины. Роль прекрасной Елены пришлось разыграть какой-то польке, Париса – подстаросте чигиринскому, шляхтичу Чаплинскому, а оскорбленного Менелая – будущему казацкому “батьке”, Богдану Хмельницкому. Понятно, вся эта история – потемки, и мы бродим в них на ощупь, судим по кое-каким намекам. После смерти первой жены Анны Сомковны Богдан взял себе в подруги жизни упомянутую польку и жил с нею, хотя они не были, по-видимому, обвенчаны. Чаплинский также питал нежные чувства к этой польке и воспылал страшным гневом против своего соперника. Он, шляхтич, и должен уступить какому-то казаку!~ Никогда не бывать этому. Возникла непримиримая вражда. Рассказывают, что спесивый шляхтич хотел из-за угла покончить с хитроватым казаком. Он подговорил какого-то негодяя убить Хмельницкого во время стычки с татарами. Это не удалось: нанесенный удар оказался недостаточно сильным. Тогда пускаются в ход разные наветы. Хмельницкий – не только трус и не способен ни к какому военному делу, нашептывает подстароста Чаплинский старосте и коронному хорунжему Конецпольскому, но и изменник; он только выжидает удобного случая, чтобы стакнуться с татарами и пойти против поляков. А время было, мы знаем, тревожное: каждого казака можно было заподозрить не то чтобы в измене своему отечеству, а в желании ниспровергнуть шляхетский строй Речи Посполитой; но для шляхтича Речь Посполита и шляхта казались синонимами. Вспомнились при этом Конецпольскому и слова его отца, сказанные под конец жизни относительно Хмельницкого. “Жалко, – говорил старый гетман, – что я оставил в живых такую беспокойную голову”. Конечно, проще было бы отрубить ему голову или посадить на кол. “Вот, – продолжает, между тем, свои речи Чаплинский, видя, что они производят желаемое впечатление, – я много лет служу вам, милостивый пан, а не получил ничего, тогда как неблагодарные изменники и трусы пользуются вашими благодеяниями. Подарите мне Суботов, которым владеет Хмельницкий; от меня, верного дворянина, получите больше пользы, нежели от негодного казака”. Староста и не прочь бы удовлетворить эту просьбу, но гонор не позволяет: хутор Суботов подарен Хмельницкому его отцом, и он счел бы за большое себе бесчестье нарушать без всякого повода волю прежнего старосты, своего отца. “Хорошо, – возражает Чаплинский, – предоставьте мне самому разделаться. Хмельницкий не имеет никакого формального документа на

владение этим хутором; кроме того, как казак он не имеет права держать людей. Я нападу на него, выгоню из дома и овладею хутором. Если же он придет к вам жаловаться, то вы скажите, что ничего не знаете, что я сделал это без вашего позволения; если он хочет удовлетворения, то пусть ищет судом. А он судом ничего со мною не сделает, потому что я – польский дворянин". Итак, решено было покончить все счеты с неприятным казаком хорошо испытанным шляхетским средством – наездом; при этом, само собою разумеется, Чаплинский имел целью похитить и свою Елену, ту польку, о которой мы говорили выше.

Хмельницкий, вероятно, чувствовал себя не в силах отразить наезд своего врага, а может быть, он еще рассчитывал найти правый суд, хотя ему, конечно, было хорошо известно, что на шляхтича нет никакого суда. Так или иначе, но Хмельницкий, заслышав о приближении Чаплинского, бежал из Суботова, оставив там детей и польку. Едва ли бы он сделал это, если бы уже в ту пору замыслил свою кровавую месть шляхте вообще. Он бежал в Чигирин искать защиты от насилия у старосты, то есть того Конецпольского, который дал молчаливое согласие на разбой. Чаплинский ворвался в хутор, проник беспрепятственно в дом и овладел яблоком раздора. При этом меньшой сын Богдана, мальчик десяти лет, был жестоко высечен и умер от истязания на другой день. Недолго медля, Чаплинский обвенчался с полькой и стал хозяйничать в хуторе. Хмельницкий и тут не обнажает своей казацкой сабли, а как самый мирный гражданин обращается из одной инстанции в другую.

Первым делом он обратился, конечно, к ближайшему представителю власти, старшине Конецпольскому. "Я ничего не знаю, – отвечал тот, – нападение сделано без моего ведома; можете судиться с Чаплинским законным порядком". Но законный порядок означает формальный порядок, а у Хмельницкого не было *документа* на право владения хутором, занесенного в земские книги; свидетельство же, выданное гетманом Конецпольским, не имело силы. Суд нашел, что хутор Суботов принадлежит старосту и от старосты зависит отдать его кому угодно. "Если же, – сказали судьи Богдану, – королю известны твои права, то советуем тебе отправиться в Варшаву и подать просьбу на сейм". Рассказывают, что прежде, чем продолжать дело судебным порядком, Хмельницкий предложил Чаплинскому покончить спор поединком. Шляхтич не мог, конечно, унизиться до поединка с казаком; зато в его обычае было действовать грубым и даже гнусным насилием со всяким, стоявшим ниже его. Вместо поединка Чаплинский, взяв на помощь себе трех служителей, напал неожиданно на

Хмельницкого. Панцирь спас казака; он не только выдержал неожиданные удары, но даже разогнал своих врагов. “Маю шаблю в руци, – вскричал он при этом, – ще козацька не вмерла маты!” Напоминание о “козацькой матери” было дурным предзнаменованием для шляхты. Но кто мог подумать тогда, что в этом уже пожилом и, видимо, желавшем прожить в мире со шляхетским государством свою жизнь человеке таился громадный запас дикой разрушающей силы. За напоминание о “козацькой матери” Богдана схватили и посадили было в тюрьму, откуда его выпустили только благодаря просьбам бывшей его сожительницы, а теперь жены врага. Он еще раз решается продолжать дело законным порядком и отправляется с этой целью в Варшаву. Сюда же явился и Чаплинский. По делу о завладении хутором последний отвечал так:

“Имение, на которое претендует пан Хмельницкий, было несправедливо отторгнуто от староства, и я ничего более не сделал, как только на законном основании возвратил его старосту; а владею им потому, что пану старосте угодно было его пожаловать в награду за мою службу Речи Посполитой. Что же касается того, что пан Хмельницкий представляет давность владения и издержки, то пан староста определяет выдать ему 50 флор.”

Сейм нашел, что сам Хмельницкий виноват в потере своего хутора, так как не запасся форменным документом, и советовал ему просить старосту чигиринского, чтобы тот утвердил распоряжение отца и выдал ему форменное свидетельство. Такое решение в виду известных уже нам отношений между чигиринским старостою и сотником означало полную потерю хутора. По делу об истязании ребенка Чаплинский не отрицал, что зять его приказал высечь мальчика “за возмутительные угрозы”; но решительно отвергал, что ребенок умер от побоев. Вероятно, ему удалось убедить судей, так как они и это дело решили в пользу ответчика. Что же касается похищения женщины, то Хмельницкому, конечно, не следовало и подымать этого вопроса, так как женщина эта стала законной женой его врага и, по-видимому, примирилась со своим положением. Во всяком случае Чаплинский решительно заявил, что он не отпустит ее от себя. “Да если бы я и сделал это, – прибавил он, – то она сама не захочет ни за что в свете возвратиться к Хмельницкому”. Суд рассмеялся и шутливо отвечал истцу: “Охота тебе, пане Хмельницкий, жалеть о такой женщине! На белом свете много красавиц получше. Поищи себе другую; а эта пусть останется с тем, к кому привязалась”. Таким образом, Хмельницкий лишился сына, любимой женщины и хутора. Потеря

для мирного человека немалая. И оказывается, что он лишался всего этого на полном законном основании: сейм руководился в своем решении не какими-либо симпатиями или антипатиями, а только законом. Однако по этому закону вышло, что шляхтич может отнять у казака хутор, женщину, убить ребенка и на жалобу потерпевшего ему только посмеются в глаза. Не может быть, чтобы Богдан в первый раз натолкнулся на эту ужасную мысль. Разве мало между его товарищами-казаками было людей, обиженных шляхтичами так же кровно и на вполне законном основании? А эти толпы народа, увлекавшие подчас и его в открытое возмущение против установленного порядка? Разве они состояли не из людей, отчаявшихся в самой возможности мирного существования? Разве страсть к гультяйству, разбою, грабежу может охватывать целый народ, подымать его на борьбу с правящими классами, разжигать внутреннюю междоусобицу? Разве целые десятки тысяч людей станут жертвовать своей жизнью, подвергаться мучительным пыткам и позорной смерти, пока для них остается хоть какая-нибудь возможность мирным трудом добывать себе средства существования? Нет, нужно оставить все эти шляхетские благоглупости о бессмысленном своевольстве разнузданной черни, о страсти к грабежу и изуверству и так далее. Все эти ужасные и свирепые оборванцы, выступавшие с косами и дубьем против панов-ляхов, все они были такие же обездоленные и поруганные люди, как и он, сотник чигиринский. Если раньше разница в положении мешала ему чувствовать свою кровную связь с народом и ясно видеть общее положение вещей, то теперь преграда рушилась. И Богдан убедился, что он может восстановить свое попранное достоинство и положение, только соединив свое дело с делом всего народа. Конец колебаниям и нерешительности! Он не будет более простым зрителем и невольным участником кровавой народной драмы; он станет теперь во главе движения и будет с оружием в руках отстаивать народные интересы.

Вспомнил, конечно, при этом Богдан и о сочувствии короля к казакам, и о той роли, какую может сыграть выданная королем грамота. В представлении народа король был каким-то мифическим лицом, во всяком случае, – желавшим блага своему народу. Зло же все заключалось в панах. Весьма важно было придать внешнюю законность восстанию, пользуясь именем верховного повелителя страны. Перед отъездом из Варшавы Хмельницкий посещает короля и рассказывает ему все свои злоключения и все бедствия и казаков и русского народа. Какой разговор произошел тут между королем, служившим, вопреки собственному желанию, игрушкой в руках магнатов-панов, и

казаком, находившимся накануне своего неограниченного владычества над народом, – можно только догадываться. “Пора бы, кажется, всем вам вспомнить, – заключил свою речь король, – что вы – воины; у вас есть сабли: кто вам запрещает постоять за себя? Я же, со своей стороны, всегда буду вашим благодетелем”. С таким напутствием уехал ограбленный и осмеянный казак к себе на Украину, и скоро панам пришлось жестоко расплатиться за свои неправды.

В следующей главе мы возвратимся к изложению хода событий, а теперь пополним нашу характеристику казацкого батьки как личности еще несколькими крупными чертами.

Богдан Хмельницкий, как мы только что показали, принадлежал к той категории общественных деятелей, которые становятся во главе общего дела, только испытав на себе лично всю несправедливость известного порядка. Этот личный элемент дает себя чувствовать и в его некоторых других крупных деяниях. Понятно, что личное чувство далеко не всегда находилось в соответствии с общественными интересами. Так, Хмельницкий никогда не мог забыть о Чаплинском. Возвратив себе хутор Суботов и женщину, разыгравшую невольно роль прекрасной Елены, находясь наверху своего могущества, он все-таки корит панов несправедливостями, учиненными над ним лично, требует выдачи своего личного врага и грозит, что он отправится искать его в Варшаву, даже в Гданьск. Странно читать эти угрозы, это требование наряду с требованиями, которые должны обеспечить религиозную, социальную и политическую независимость народа. В минуты раздражения Чаплинский в его глазах играет даже большую роль, чем все бедствия народа: он – причина братоубийственной войны и взаимных жестокостей. Только человек, ослепленный личной злобой, может доходить до подобных смешных объяснений. Хмельницкий при этом забывал одно маленькое обстоятельство: не он поднял русский народ на отмщение обиды, нанесенной ему, Хмельницкому, Чаплинским, – а наоборот, восставший уже народ принял его и поставил во главе своего восстания, чтобы он отстоял возможность человеческого существования *для всех*.

Тот же личный элемент чувствуется и в войне с молдаванским господарем Лупулом. В самый разгар народной борьбы, когда враг успел оправиться от первых поражений и когда следовало быть особенно осмотрительным и не растрачивать своих сил на посторонние дела, Богдан затеял женить сына своего Тимофея на Домне-Розанде, дочери Лупула, и, так как господарь молдаванский не видел ничего лестного для себя в родстве с мятежным казаком, то прекрасную Розанду

приходилось добывать силой. “Если ты не отдашь своей дочери за моего сына, – писал Хмельницкий Лупулу, – то я пошлю к тебе сто тысяч сватов!” Лупул, рассчитывая на поддержку поляков, заупрямился. Тогда Хмельницкий действительно отправил свадебный поезд в числе 15 тысяч казаков и 20 тысяч татар под предводительством самого жениха Тимоша. От дела были отвлечены не только эти силы. Сам гетман с остальным войском держался также, по необходимости, около границы, чтобы в случае нужды подать помощь. Тимош ворвался в Молдавию, опустошил ее, подступил уже к самым Яссам. Лупул, оставленный поляками, должен был теперь унизительно просить пощады и соглашался отдать дочь свою за Тимофея. Но это было притворное согласие. Под разными предлогами он откладывал свадьбу. Да и как было не откладывать. Домна-Розанда могла сделать партию получше: на ней не прочь были жениться такие представители польского магнатства, как Вишневецкий, Потоцкий, Калиновский. А тут приходится предпочесть простого казака, хотя отважного и ловкого, но вместе с тем грубого, лишенного образования, не знавшего, как себя держать, и на все приветствия отвечавшего упорным молчанием, одним словом, “ни бе, ни ме”, как выражается о нем один очевидец. Лупул тянул, а казацкий вождь терял время и силы на устройство семейного дела. Наконец раздосадованный, он снова пишет господарю в таком тоне: “Сосватай, господарь, дщерь свою с сыном моим, Тимофеем, и тоби добре буде, а не виддаси – изотру, изомну, и останку твоего не останется, и вихрем прах твой размечу по воздуси”. Что это были не пустые слова, показала Батогская битва, в которой Хмельницкий нанес жестокое поражение полякам. Действительно, он мог теперь “измять”, “истереть” молдавского господаря так, что и “останка” его не осталось бы. Лупул поспешил написать, что ждет Тимоша. Свадьба состоялась. Однако Богдан Хмельницкий дорого заплатил за свою настойчивость: он потерял сына, и в нем, быть может, преемника, способного довести до конца начатое дело. Молдавию в ту пору обуревали внутренние раздоры. Тимош защищал, конечно, своего тестя. Под Сочавою он был ранен. Известие об этом застало Хмельницкого как раз среди военных приготовлений против поляков, готовых вторгнуться под предводительством самого короля в русскую землю. Страх потерять сына был так велик, что гетман, несмотря на открытый протест казацких полковников, указывавших на угрожавшую опасность Украине и необходимость защищать первым дело ее, решился идти на помощь сыну. Но рана Тимоша оказалась смертельной, он умер. Казаки, храбро выдерживавшие осаду под

Сочавой, сдались на условиях, обеспечивавших им возможность честного отступления, и теперь везли на Украину гроб с останками своего предводителя. Эта печальная процессия попалась навстречу спешившему отцу. “Слава Богу, – сказал он, – мой Тимофей умер, как казак, и не достался в руки врагов”.

Так печально кончившееся вмешательство в дела молдаванские может быть еще объяснено политическими соображениями. Для Украины, бесспорно, было бы выгодно иметь в лице молдаванского господаря союзника, связанного узами родства. Несвоевременно только все это затеял Хмельницкий. Личные семейные отношения мешали ему взглянуть прямо на общее положение вещей и дать надлежащую оценку совершавшимся явлениям. То же повторилось и в деле еще более важном, – при выборе преемника казацкому батьке. Будучи гетманом, Хмельницкий пользовался почти неограниченной властью. Казаки не признавали наследственной власти; они избирали себе вождя. На него возлагалось трудное дело – управлять народом среди беспрестанных военных тревог. Чтобы успешно выполнить такую задачу, необходимы были чрезвычайные полномочия, и каждый казацкий гетман обыкновенно получал их. Кто же не оправдывал доверия, тот должен был сложить булаву и мог поплатиться даже жизнью. Во все время кровавой борьбы Богдан оставался во главе народа. Но ему было уже около 60 лет; силы его заметно ослабевали. Рассказывают, что его отравили недруги южнорусского народа медленно действующим ядом. Хуже всякого яда на стареющего гетмана действовала, вероятно, необходимость не только постоянной борьбы с оружием в руках, но и беспрестанных дипломатических ухищрений. И при всем том он не мог отвязаться от тяжелой мысли, что, несмотря на реки пролитой крови и массу потраченного труда, будущее Украины представляет загадку, и даже весьма тревожную загадку. Среди этой борьбы и этой дипломатии его все чаще и чаще посещает мысль о смерти. Кто же будет продолжать неоконченное дело? Но разве мало было у него славных сподвижников? Разве мог бы он собрать свой разрозненный народ и так страшно разгромить Польшу, если бы он был один среди бездарностей, если бы ему не помогали отважные полководцы и вообще люди способные? Конечно, они есть, и он укажет их казацкой старшине. А род Хмельницких должен будет снова возвратиться к безвестному существованию, и мои дети, мое потомство превратится в простых казаков? К тоске по общему делу присоединяется тоска по личному. Вот если бы жив был Тимош, этот многообещавший юноша, он мог бы продолжать дело отца, мог бы по праву занять

его место. Увы, Тимош погиб из-за прекрасных глаз Домны-Розанды и честолюбия отца. Но разве, думает старик, недостаточно заслуг моих, разве не я вырвал украинский народ из рук шляхетских и разве в вознаграждение моих заслуг гетманское достоинство не следует оставить в моем роду? Эта мысль овладевает им все настойчивее и настойчивее, и он желает, чтобы гетманское достоинство было передано сыну его Юрию, тогда еще 16-летнему юноше, болезненному, трусливому и совершенно неспособному. Это было, конечно, безумное желание. Он не решается высказать его прямо, но, очевидно, исподволь подготавливает почву. На собравшейся по его желанию раде казацкой старшины он, между прочим, говорит:

“Десять лет я посвящал себя отечеству, не щадя ни здоровья, ни жизни; но теперь, по воле Создателя моего, старость и болезни одолели меня; изнемогают члены тела моего, схожу в могилу, братья, и оставляю вас на произвол судьбы”~ “Бог знает, братья, чье это несчастье, что не дал мне Господь окончить этой войны так, как бы хотелось: во-первых, утвердить навеки независимость и вольность вашу; во-вторых, освободить также Волынь, Покутье, Подол и Полесье и так избавить оружием нашим от ига польского народ русский, благочестивый, принуждаемый к унии~ Не успел я окончить своего дела, умираю с величайшим прискорбием; но не знаю, что будет после меня. Прошу вас, братья, пока я жив, изберите себе при моих глазах нового гетмана вольными голосами. Если я буду знать отчасти будущую судьбу вашу, то спокойнее сойду в могилу”.

Затем он указывает на некоторых заслуженных казаков.

“Нет, нет! – кричит рада, зная его затаенное желание. – За твои знаменитые заслуги перед войском запорожским, за твои кровавые труды, за твой разум и мужество, с которым ты избавил нас от ярма ляхского, прославил перед целым светом и устроил свободным народом, мы должны и по смерти твоей оказывать честь твоему дому. Никто не будет у нас гетманом, кроме Юрия, твоего сына”.

За эту фальшь, за эту попытку установить наследственное гетманство Украина пролила немало крови: дела, совершенные “разумом и мужеством”, требуют и для дальнейшего своего преуспевания разума и мужества, а не вырождающегося идиотизма.

Многие ставят в вину Богдану его дипломатическое двоедушие и даже криводушие. Мы думаем, что пристрастье к своим личным делам, от которого он не мог освободиться даже в вопросах величайшей общественной важности, имеет неизмеримо большее значение, чем эти якобы коварство и вероломство. Стоит

только представить себе условия, при которых приходилось действовать Хмельницкому, чтобы понять всю пустоту подобных обвинений. Скажем больше – не обладай Богдан такими дипломатическими способностями, едва ли бы ему удалось совершить то, что он совершил. Обвиняют Хмельницкого, как будто бы все вокруг него были в прекраснодушном настроении и один только этот коварный казак пускался на хитрости, присягал, изменял, снова присягал и так без конца. Но кто были его враги и его союзники? Поляки, турки, татары, Москва. Поляки действительно не раз присылали Адама Киселя в качестве миротворца. Но кто же из казаков не понимал, что его красноречивые излияния означали просто временное бессилье шляхты и что какие бы договоры ни подписывались, поляки нарушат их, как только соберутся с силами? Поляки примирились бы искренне только на одном условии: на полном уничтожении казачества и на превращении всего русского народа в безгласных хлопов. Выдающийся поляк того времени Иеремия Вишневецкий не считал нужным скрывать этого. Таким образом, двоедушная дипломатия с поляками была прямым ответом на их двоедушную политику. Татары не знали другого закона, кроме грабежа, и всегда были на стороне того, кто мог привлечь их заманчивыми грабительскими перспективами. Они изменяли южноруссам в самый критический момент. И почему бы это Богдан Хмельницкий питал к ним какие-нибудь особенно лояльные чувства? Напротив, это был явный и злейший враг. По обстоятельствам времени и места из него временно удавалось сделать союзника, и союзник этот оказывался единственным; никакого выбора не представлялось; естественно, что Хмельницкий всеми силами старался поддерживать добрые отношения, глубоко затаив до лучших дней мысль о расплате за все опустошения, причиняемые Украине. Татары находились в зависимости от турецкого султана, и, чтобы иметь их на своей стороне, необходимо было поддерживать хорошие отношения с Турцией. Отсюда сношения с Турцией. В трудные минуты, когда союзники и якобы друзья, пользуясь обстоятельствами, раскрывали свои волчьи пасти, Хмельницкий готов был идти в подданство даже турецкому султану. Это была по тому времени страшно еретическая мысль: добровольно идти в подданство к непримиримому врагу всего христианского мира! Но, во-первых, мысль эта приходила Хмельницкому только в тех случаях, когда он попадал в ловушку, из которой не представлялось никакого другого выхода; во-вторых, в настоящее время мы видим, что даже завоеванные мечом народы не потеряли под турецким владычеством своей самобытности и на наших глазах

возрождаются в самостоятельные государства. Так ли уж был недальновиден Богдан, как это представляется его недоброжелателям? Остается еще Москва. Но она, как известно, придерживалась тогда крайне нерешительной и медлительной политики по отношению к Малороссии; отношения же ее к покоренным княжествам и соседним государствам далеко не отличались в то время прямодушием. Известно, как настойчиво добивались казаки помощи от Москвы и как она под разными предлогами отказывала им; только когда рушились всякие надежды объединить польское и московское государства под главенством московского царя, оказалось возможным "нарушить крестное целование", объявить войну полякам и принять казаков под "высокую государеву руку". Смешно было бы ожидать от Хмельницкого открытой, что называется, честной политики, когда отношения не только между чуждыми народами, но и между родственными князьями всецело держались на подсиживанье, обмане, вероломстве и тому подобных прелестях грубой дипломатии XVII века. Богдан Хмельницкий не был религиозным или социальным реформатором. Он призван был освободить южнорусский народ от шляхетско-католической зависимости. При других условиях это освобождение могло бы совершиться и без нарушения единства польского государства. И как сам он был сыном своего времени, так и действовать он мог, пользуясь теми общественными силами и теми вообще приемами, какие были выработаны раньше его.

Другое дело его внутренняя политика, его отношение к интересам народной массы, которая, собственно, и доставила ему торжество. Двоедушия и вероломства здесь также не было, но была нерешительность, недостаточная определенность поступков, как бы даже непонимание, во имя чего восстало все это хлопство. Вынуждаемый обстоятельствами, он шел на компромиссы с поляками, заходившие иногда так далеко, что они теряли характер компромисса и превращались, казалось, в отступничество. Но не будем слишком строги к человеку, волей судеб поставленному в самом центре "ада кромешной злобы" и чувствовавшему временами свое полное бессилье укротить эти адские силы. Удушливые испарения польско-шляхетской культуры могли затуманить не такую голову.

Нужно подумать только, что представлял в то время русский народ, лишенный иезуитами лучших своих сил, тогдашняя *чернь,* чтобы понять, как трудно, как невозможно даже было делать вместе с нею какое-нибудь *положительное* дело! А между тем, для действительного достижения той цели, к которой стремилась чернь, нужно было не только изгнать панов-ляхов, но и заложить

новое основание общественного порядка. Чернь же давала массу горючего материала для разрушительной работы и почти никакого – для созидательной. Поэтому всякий раз, когда от войны дело переходило к миру, Хмельницкий как бы отступался от черни. Но не следует забывать, что это отступничество носило дипломатический, бумажный характер, что все время, пока Хмельницкий стоял во главе народа, паны-ляхи не могли возвратить себе прежнего положения на Украине и что “подданные” их сохраняли на самом деле полную свободу. Заключая Зборовский и Белоцерковский договоры, усмиряя чернь, он прекрасно понимал всю недолговечность этих соглашений и готовился к новой войне за свободу усмиряемой им же черни. Чернь узнавала об этом только тогда, когда начиналась новая война, и потому волновалась и обвиняла своего гетмана в измене. Но для нас, имеющих возможность обозреть деятельность Хмельницкого во всей ее совокупности, такие обвинения теряют смысл и значение.

# Глава III. “Ад кромешной злобы”

***Об успехе. – По дороге на родину. – Тайное совещание. – Арест. – Бегство на Запорожье. – Союз с татарами. – Переговоры и требование Хмельницкого. – Настроение народа. – Сборы польских панов. – Битва у Желтых Вод. – Под Корсунем. – Разговоры. – Изложение обид и неправд. – За веру. – Сношение с Москвою. – Разгар адской ненависти. – Вишневецкий. – Распространение восстания***

Итак, мы знаем, что насильник и насилие, учиненное над Богданом Хмельницким, торжествовали во всех законных инстанциях. Оставалось противопоставить насилию силу, взяться за казацкую саблю. Хмельницкий прекрасно понимал, что он будет не один, что на его зов соберутся все эти беглецы, стремившиеся на Запорожье, все те, над кем паны совершили какое-нибудь насилие, и все те, кто хотя бы лично и не пострадал еще, но не был уверен в завтрашнем дне, кто вообще не мог примириться со шляхетскими порядками. А не значило ли это, что весь южнорусский народ готов подняться как один человек, раз только найдется предводитель, способный внушить к себе доверье? Верил ли сам Богдан в успех затеваемого им восстания? Праздный вопрос. Он не мог делать никаких выкладок на этот счет и, конечно, не знал теории вероятности. Он не думал об этом. Не в успехе дело. Успех зависит от массы сложных условий, которые невозможно даже бывает предусмотреть. Об успехе нечего заботиться, так как всякое правое дело в конце концов восторжествует. Не желание успеха побудило его взяться за саблю, а страшная непререкаемая действительность. Она ворвалась в его вроде бы даже хорошо сложившуюся жизнь, перевернула все вверх дном и сделала невозможным дальнейшее мирное существование. Он *должен* был обнажить свою саблю и сразиться с действительностью, не загадывая много об успехах.

Из Варшавы Хмельницкий отправляется на родину, чтобы покончить со своими личными делами и бежать на Запорожье. Дорогой он присматривается к настроению народа, заводит разговоры об угнетении и при случае высказывает свое решение. “Пусть будет вам известно, – говорит он, – я решился мстить панам-ляхам войною не за свою только обиду, но за попрание веры русской и за поругание народа русского. Я бессилен, но вы мне помогите”. И, вероятно, нередко приходилось ему слышать в ответ: “Берись за оружие, станем с тобою; поднимется земля русская, как никогда еще не поднималась!” Таково было общее настроение хлопов. Затем Хмельницкий старается заручиться

сочувствием реестровых казаков. Он собирает несколько десятков своих товарищей по оружию, дает им отчет о своей поездке в Варшаву, о всем, что он видел и слышал, читает тут же похищенную у Барабаша знаменитую привилегию Владислава и спрашивает: “Ужели долее будем терпеть? Ужели оставим в бедствии братьев наших русских, православных? Проезжая по Руси, везде я видел страшные утеснения тиранства; несчастный народ вопит о помощи; все готовы взять оружие; все обещают стать с нами заодно”. Тут казаки припоминают, конечно, и все стеснения, которым подвергаются они от Речи Посполитой, припоминают обиды, насилия от панов и так далее, и так далее, и решают поднять восстание. Но, сознавая, что одним им не по силам будет вести борьбу с могущественным организованным государством, они считают необходимым обеспечить себя предварительно союзником. На Москву нельзя было рассчитывать: она решительно уклонялась от активного вмешательства в польско-русскую распрю. Оставались татары, эти исконные враги казаков. В руках казаков находилась теперь грамота Владислава, разрешавшая им готовить чайки и снаряжаться в поход против татар. Ею можно было воспользоваться и настроить татар против поляков, раздражавших их к тому же постоянной неаккуратностью по части уплаты разных “выкупов”. Так и порешили. На Богдана возложили трудное дело переговоров с ордою и тут же хотели избрать его гетманом, но он отказался.

В то время люди заботились больше о деле, чем о протоколах, и потому до нас не дошло вполне достоверных сведений об этом совещании; но что оно было, это – факт. Между заговорщиками нашелся предатель. Скоро к коронному гетману Потоцкому летел уже гонец с вестями о заговоре. Приказано было немедленно схватить Хмельницкого и держать его под стражей.

Тем временем Хмельницкий распродавал остатки своего имущества и повел на ярмарку в селе Бужин коня. Здесь он был схвачен и, хотя на допросе он успешно опровергал все обвинения и свои слова подтверждал даже свидетельскими показаниями, однако его отдали впредь до дальнейших распоряжений под надзор Кречовскому, переяславскому полковнику. Гетман Потоцкий, раздраженный постоянными восстаниями, не поцеремонился и одним ударом хотел отделаться от нового бунтовщика: он послал предписание казнить Хмельницкого. Но Хмельницкий был уже вне опасности. Кречовский, будущий его сподвижник, не устерег преступника, и он бежал вместе с сыном Тимофеем в Запорожье. Это случилось в 1647 году, с какового и начинается освободительная деятельность Хмельницкого.

Сечевики приняли радушно беглеца, пользовавшегося уже известностью на Украине.

“Смотрите на меня, – говорит он этим завзятым рубакам, – на меня, писаря войска запорожского, старого казака; я уже ожидал отставки и покоя, а меня гонят, преследуют только потому, что так хочется тиранам; сына у меня варварски убили, жену посрамили, достояние отняли, лишили даже походного коня и напоследок осудили на смерть. Нет для меня другой награды за кровь, пролитую для их же пользы; ничего не остается для тела, покрытого ранами, кроме невинной смерти под рукою палача. К вам уношу душу и тело: укройте меня, старого товарища; защищайте самих себя, и вам угрожает то же!”

Такие речи производили сильное впечатление: все эти сечевики были людьми, для которых, в сущности, также не оставалось ничего, кроме смерти. Отважные воины, они, однако, были плохими политиками; а дело, задуманное Богданом, требовало осторожности, такта, а по тому времени – просто хитрости. Нужно было подготовить не какую-нибудь местную вспышку, а всеобщее восстание; поэтому нужно было до поры до времени хранить истинные намерения в тайне, дабы поляки не разведали и не залили кровью еще не успевшего вспыхнуть пламени. Хмельницкий был мастером на такого рода дела. Он посвящает в свои планы только запорожскую старшину, а между простыми запорожцами распространяет слух, что на первых порах предполагается ограничить все дело посылкой депутации к королю. К польским же панам и самому коронному гетману он пишет довольно успокоительные письма. Потоцкий сам не прочь избежать кровопролития; но ему нужна голова Хмельницкого. Он хочет выманить его как-нибудь или по крайней мере затянуть время, чтобы собраться с силами, с каковой целью посылает опытного в подобных делах шляхтича для переговоров. Переговоры ведутся тайно от запорожской “сиромы” и так же тайно Богдан исчезает вслед за тем в Крым – искать союзника. Ему удалось рассеять недоверчивость татар, хотя в залог верности союза пришлось оставить в Бахчисарае Тимофея. На помощь казакам был отпущен Тугай-Бей с ордой.

Что требования Хмельницкого на первых порах были довольно скромны и во всяком случае касались только чисто казацких нужд, видно даже из письма Потоцкого к королю.

“Хотя я и знаю, – писал коронный гетман, – что этот безрассудный человек Хмельницкий не преклоняется кротостью, однако не раз уже я посылал к нему с предложением выйти из Запорожья с обещанием помилования и прощения всех проступков~ Хмельницкий отпустил ко мне моих послов с

такими требованиями: 1) чтобы я с войсками выступил из Украины; 2) чтобы удалить полковников и офицеров; 3) чтобы уничтожить установленное республикою казацкое устройство и чтобы казаки оставались при таких вольностях, при которых они могли бы не только ссорить нас с посторонними, но и поднимать свою безбожную руку на ваше величество". (Дальше читатель убедится, как ошибался Потоцкий насчет посягательства на величество.) "~Что он давно обдумал, – пишет затем гетман, – как начать бунт и как действовать, в этом ваша королевская милость убедиться извольте, обратив внимание на число его сообщников, простирающееся до 3 тыс. чел. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину! Тогда эти три тысячи быстро возрастут до 100 тысяч, и нам будет трудная работа с бунтовщиками".

Потоцкий не обманывался. Действительность принимала грозный вид. Несмотря на всю осторожность, с какой Хмельницкий вел дело, в народе шла усиленная молва о готовящемся восстании. Собирались своевольные толпы. Побеги хлопов учащались. Народ запасался оружием. Один Иеремия Вишневецкий отобрал у своих крестьян несколько тысяч самопалов. Наконец, появились агитаторы Хмельницкого, которые ходили по селам и склоняли народ на сторону казаков. В том же письме к королю коронный гетман говорит, что гибельное пламя восстания уже так разгорелось, что не было ни одной деревни, ни одного города, в котором не раздавалось бы призыва к своеволью и где бы не умышляли на жизнь и имение панов своих и державцев, своевольно напоминая о своих заслугах и о частых жалобах на обиды и притеснения. Пожалуй, уже поздно было "одним страхом" прекращать войну. Нужно было браться за оружие. Разнесся слух, что Хмельницкий выступил с войском из Запорожья и направился в Украину. Действительно, Хмельницкий, уладив союз с татарами, возвратился на Запорожье и здесь, на многолюдной раде, был избран гетманом запорожского войска. С наступлением весны он намеревался идти в Украину.

Между тем, польские паны медлительно собирались со своими надворными командами к главному предводителю, коронному гетману Потоцкому. Что значило для польских шляхтичей потушить вспышку казацкого своеволия? Не в первый раз им приходится иметь дело с этой "сволочью". Рассчитывали, что победа дастся легко, и проводили время в пирушках. К тому же королевские комиссары расхолаживали всякий пыл. Король был уверен, что казаки собрались против турок (по его же наущению), и потому находил, что самое лучшее средство усмирить их – это дозволить им свободно отправиться на море.

В таком духе и действовали его комиссары. Однако вести с низовья Днепра становились все тревожнее и тревожнее. Собрали военный совет и решили, что всему войску двигаться незачем и что достаточно будет отправить вперед сильный отряд, который “уничтожит дотла презренное скопище и приведет зачинщиков на праведную казнь”. Реестровые казаки, под начальством Барабаша, отправились Днепром, а панские жолнеры и драгуны (в числе последних тоже было много русских) – сухопутьем. Узнав о движении поляков, Хмельницкий выступил из Запорожья им навстречу; Тугай-Бей шел вслед за ним с татарами. Как велика была численность противников, достоверно неизвестно. У Хмельницкого было восемь тысяч украинцев; татар на этот раз насчитывали немного, тысяч около четырех. У поляков же реестровых казаков было около шести тысяч, да остального регулярного войска от двух до шести тысяч. Может быть, поляки в численном отношении и уступали украинцам, но зато они имели хорошую артиллерию и обученное войско, тогда как в рядах украинцев была масса беглых землепашцев, плохо вооруженных и плохо владевших оружием, а орда вся действовала луками. Так незначительны были передовые отряды, выставленные двумя народами, готовыми ринуться друг на друга со страшным ожесточением. За молодым Потоцким, предводительствовавшим передовым отрядом, стоял старый Потоцкий, коронный гетман, а затем и вся масса войска, какую могла выставить Польша. Хмельницкому же в случае неудачи не на кого было рассчитывать. Даже татары, его союзники, и те, несомненно, бросились бы на него при первых неудачных действиях. Для него и для поднятого им восстания все зависело от исхода первого столкновения.

Противники сошлись у реки *Желтые Воды.* Никто не начинал боя. Поляки поджидали реестровых казаков, плывших Днепром; а Хмельницкий~ он увещевал этих самых казаков не проливать братской крови и присоединиться к ним.

“Все народы, – говорил он, – защищают жизнь свою и свободу; звери и птицы то же делают: на то Бог дал им зубы и когти. Или нам оставаться невольниками в собственной земле своей? Поляки отняли у нас честь, вольность, веру – все это в благодарность за то, что мы проливали кровь, обороняя и расширяя Польское королевство!”

Реестровые убили Барабаша и других, стоявших за поляков, присоединились к запорожцам и в виду польского лагеря вошли в казацкий обоз. Теперь шансы борьбы стали далеко не равными. Поляки окопались и решили выдерживать осаду, пока подоспеет помощь. Но Хмельницкий перехватил посланного ими гонца. Положение становилось безвыходным. Окруженные со всех

сторон поляки храбро отбивались, но в конце концов потерпели страшное поражение (5, 7 и 8 мая 1648 года). Очень немногим удалось уйти с поля сражения. Масса пала, многие знатные паны были взяты в плен, в числе которых оказался Выговский, ставший вскоре самым приближенным лицом к Хмельницкому. Но что было важнее всего для казаков, – это доставшиеся им пушки. Теперь Хмельницкому предстояло сразиться с главными силами поляков, которые он настиг под *Корсунем;* и он обращается, как поется в народной думе, к казакам с такими словами:

*“Гэй, друзи молодци,*
*Браття козакы запорожци,*
*Добрэ дбайтэ, барзо гадайтэ,*
*Из ляхамы пыво варыты зачынайтэ!*
*Лядськый солод, козацька вода;*
*Лядськи дрова, козацьки труда”.*

В польском войске шла жестокая распря между военачальниками. Русские воины переходили на сторону казаков. Загнанные в ловушку поляки и здесь были разбиты наголову (16 мая 1648 г.).

“Роковое место для поляков, – пишет Костомаров, – было в конце рощи. Дорога спускалась с крутой горы в долину и поднималась на гору. Вдоль долины и на несколько верст шел выкопанный глубокий ров. Польские пушки и возы, съезжая с горы, летели в этот ров. Напрасно передние кричали задним: “Стой! Стой!” Лошади, успевшие достигнуть спуска, не в силах были удержаться, падали с возами одни за другими в ров; другие возы в беспорядке бросались в сторону, но по бокам были овраги, и они туда падали. Прямо на поляков с противоположной горы палили козацкие пушки, а сзади ударили на них изо всех сил казаки и татары”.

Поляки смешались. Князь Корецкий со своими двумя тысячами жолнеров покинул обоз. Казаки ворвались в польский четырехугольник, и началось беспощадное избиение поляков. Сам коронный гетман Потоцкий попал в плен; та же участь постигла второго гетмана Калиновского и многих других панов. Все они пошли на вознаграждение татарам за союз и были отправлены в Крым до уплаты выкупа. Казакам же достались в добычу богатые обозы панов, собравшихся пировать победу над хлопами.

Корсунская победа – это увертюра к страшной кровавой драме, разыгранная на саблях при пушечном грохоте. Но не одними кровавыми деяниями, победами и поражениями пишет эту драму казацкий батько Хмельницкий. Он – не Наливайко,

Павлюк, Перебийнос и тому подобные народные вожди. Он ведь прошел иезуитскую школу. Он придает большое значение *разговорам,* громадное значение, во всяком случае большее, чем следовало бы. Переговорами он думал уладить непримиримый раздор между русским народом и польской шляхтой. Роковое заблуждение! Правда, бывают моменты, когда *слово* совершает великие дела. Но какое слово? Во всяком случае, не дипломатическое. И затем, бывают моменты, когда никакое слово не в состоянии разрешить накопившихся неправд. Разве был какой-нибудь мостик между “паном” и “хлопом”? Пожалуй, лишь на словах, но на деле – никакого.

Кроме того, переговоры, которые вел Хмельницкий, не соответствовали делам, которые он делал. Он не вполне ясно понимал еще мотивы, вызвавшие украинский народ на борьбу, и потому не мог формулировать надлежащим образом его требований. Этот разлад между делами, победами и словами, переговорами звучит вопиющим диссонансом среди бряцания сабель, грохота пушек, стонов и криков погибающих и вместе с тем свидетельствует, насколько Хмельницкий был преданным и верным еще сыном своего отечества. Что бы ни говорили, этот бунтарь выказал большую по обстоятельствам времени лояльность.

После Корсунской битвы Хмельницкий разослал по всей Украине универсал с призывом к восстанию; он приглашал всех желающих владеть оружием собраться под Белой Церковью, где казаки расположились лагерем. Что он писал в этом универсале, достоверно неизвестно, так как сохранившиеся копии считаются подложными или искаженными. Но в то же время он отправляет депутацию к королю, несмотря на слухи о смерти последнего. Депутация должна была представить письмо Хмельницкого и изложить различные обиды и неправды. Оказывается, что и в письме, и в объяснениях депутатов дело идет об обидах и неправдах, которые терпят собственно *казаки.*

“Смиренно повергаем к стопам вашего величества нашу верность, подданство и козацкую нашу службу, – пишет самозванный с польской точки зрения, гетман, только что беспощадно разгромивший коронного гетмана с немалочисленной панской ратью. – Хотя мы уже и наскучили своими беспрестанными жалобами вашей королевской милости о нестерпимых обидах, какие нам делают господа старосты и помещики украинские, но негде нам искать обороны: только на Господа Бога да на милосердие вашего величества полагаем надежду~ Паны полковники наши, их рукодайные слуги вместо того, чтобы нас оборонять от таких бед и напастей, еще сами им

против нас помогают; даже и жиды, надеясь на господ старост, делают нам тягости, так что и в турецкой неволе христианство не переносит таких бед, какие причиняют нам, подножкам вашей королевской милости. Мы сами знаем, что такие обиды делаются в противность вашей милости, но они нам кричат: “Мы вам покажем короля! А что, сякие-такие сыны, помогает вам король?” Наконец, после этого мы уже не могли более терпеть такого незаслуженного мучения; не стало сил жить в домах своих и, побросав жен и детей, принуждена была часть войска бежать куда-нибудь, унося головы с душами”.

Затем Хмельницкий объясняет, как на него напал коронный гетман Потоцкий и как “при сухих дровах досталось и сырым”. А вот и изложение обид по пунктам.

1) Паны державцы и украинские урядники обходятся с казаками не как с рыцарями, а как с рабами. 2) Хутора, нивы, луга, мельницы и все, что понравится, паны отбирают у них, а их самих сажают в тюрьмы, мучат, убивают. 3) Собирают с казаков, проживающих в имениях его королевского величества, точно с мещан, десятину и поволовщину. 4) Не дозволяют казацким сыновьям содержать у себя старых отцов и матерей. 5) С казацких вдов, хотя бы у них сыновья были на службе, берут подати, как с мещан, и грабят их без милосердия. 6) Казацкие полковники не защищают их и даже помогают утеснять. 7) Жолнерская челядь забирает у казаков волов, коров, сено и хлеб. 8) Не позволяют на Днепре и Запорожье свободно ловить зверей и рыбу. 9) Военную добычу, что получше, полковники вместе с жолнерами отнимают у казаков и оставляют им один только брак. 10) Пользуются всяким случаем, чтобы засадить казака в тюрьму и взять с него взятку, гоняют на работы, к подводам и т.д. 11) Шести тысяч реестровых казаков недостаточно; король разрешил увеличить это число до 12 тысяч и идти казакам на море, но воля королевская осталась невыполненною. 12) Войско не получало за пять лет жалованья, которое просят выплатить теперь. 13) Просят ни в чем не нарушать древней греческой религии и возвратить православным все церкви, обращенные в униатские костелы, и 14) Просят сохранить за войском все льготы, дарованные прежними королями.

Итак, даже разгромив наголову польские войска, казаки не думают ни об отделении от Речи Посполитой, ни о ниспровержении панского гнета над простым народом вообще; они перечисляют частные войсковые обиды и только в самом конце указывают на одну обиду общего характера – просят о древней греческой религии. Однако обиды, испытываемые казаками от панов, не имели ничего специфически казацкого; те

же обиды испытывал и весь народ, только в последнем случае это были уже не обиды, а тяжелое и притом признанное законом порабощение. Поэтому на борьбу, поднятую казаками в своих интересах, должен был отозваться весь народ. Действительно, между казаками и простым народом не было непроницаемой перегородки, как между шляхтичем и хлопом. Всякий хлоп, чувствовавший влечение к казакованию, легко мог сделаться казаком, несмотря на все запреты: "Сич-маты", как мы знаем, всякого принимала и всякого укрывала. Пусть там казацкие депутации излагают перед польским сеймом и королем свои казацкие обиды и требуют восстановления своих привилегий. Весь народ будет биться под казацким знаменем. Частное должно превратиться во всеобщее. Казацкая привилегия на свободный труд должна стать всеобщим правом; в противном случае целости и даже самому существованию Речи Посполитой угрожает большая опасность. Но ни польские правители, ни даже казацкие предводители не находились на высоте понимания совершавшихся событий, и потому результаты получились далеко не те, какие могли бы получиться.

Конечно, Хмельницкий понимал, что с народом нечего говорить о казацких привилегиях; поэтому он призывает его на борьбу за веру, указывая на экономический гнет, вообще испытываемый им от панов, но не предлагая в этом отношении никакого определенного выхода. Точно так же и в сношениях с московским царем он выставляет на первый план интересы православной церкви, утверждая, что казаки умирают за древнюю греческую веру, терпят насилия от "безбожных ариан" и т.д.

"Желали бы мы – писал он царю, – самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская вельможность, православный христианский царь; тогда бы, чаю, исполнилось предвечное пророчество Христа Бога нашего, что все в руках его святой милости будем; уверяем ваше царское величество: если бы на то была воля Божья и твой царский поспех тотчас наступит на эти государства, немедля, мы со всем войском запорожским готовы услужить вашей царской вельможности. Отдаемся вам с нижайшими услугами; если ваше царское величество услышишь, что ляхи сызнова на нас хотят наступить, поспешайся со своей стороны на них наступить, а мы их с Божью помощью возьмем отселе, и да управит Бог из давних лет глаголемое пророчество".

Праздным вопросом будет доискиваться, искренен или неискренен был казацкий батько, придавая поднятому им движению религиозный характер. Тогдашняя Москва вовсе не заботилась об искренности и была пропитана внешней религиозностью. Едва ли в каком-либо ином духе мыслимы были

переговоры Хмельницкого с московским царем. Когда же обнаруживалось, что московские воеводы сносятся с польскими пограничными властями, он в раздражении писал прямо: “Дай Боже, чтобы и всякий неприятель нашего войска запорожского так себе шею сломал, как ныне Бог послал нам ляхов надломить!” В то время, когда Богдан вел все эти переговоры, народное восстание быстро распространялось по южнорусской земле. Вести о поражении поляков и призывы Хмельницкого служили теми искрами, от которых воспламенялся народный гнев. Духовенство, в особенности низшее, также немало натерпевшееся от шляхетского своеволия, горячо призывало к борьбе:

“Приспел час, желанный час! – говорили священники. – Время возвратить свободу и честь нашей веры! Века проходили, и православная вера терпела постыдное унижение. Нам не давали даже убежища для молитвы. Все наши приходы, церкви, обители, епархии в руках латинов и униатов~ Латинам дают доходные места, а бедные православные восточного благочестья страдают в нищете. Жиды для панов лучше нас; жиды управляют их имениями и попирают бедных христиан. Пора! Пора! Ополчайтесь за свою жизнь! Бог благословит вас и поможет вам”.

Даже и в этом обращении слышится материальная нотка: “доходные места”. Что же удивительного, что все движение приняло крайне материалистический, грубый характер. Народ, ожесточенный долгими годами необузданного своеволия и насилия, дал волю своей ненависти. Началась дикая расправа с панами и жидами.

Хлопы, вооружившись чем попало, составляли загоны и действовали вразброд по собственному почину и на свой страх. Они назывались также казаками; но случалось, что Хмельницкий даже не знал об их существовании. Как только такой загон появлялся в известной местности, крестьяне присоединялись к нему и врывались в дом своего пана. Тут уже все гибло: и старые, и молодые, и паны, и слуги, если только они были не православные; имущество же грабилось и делилось между участниками. Единственное спасение для панов было в бегстве. Шайки, возрастая в численности, проявляли и большую дерзость. Пограбив помещичьи усадьбы, они обращались на укрепленные замки, осаждали, брали их; наконец, выдерживали целые сражения, если опомнившиеся от испуга шляхтичи успевали организовать какой-нибудь отпор. Чем большее сопротивление встречала такая шайка или такой отряд в своем опустошительном движении, тем более жестокой была расплата. Женщин нередко насиловали на глазах мужей, младенцев разбивали о стены, доставшимся же живыми в плен полякам придумывали всяческие

казни: их резали, вешали, топили, распиливали пополам, сдирали с живых кожу и так далее. Все это нетрудно объяснить одной дикостью и кровожадностью некультурного народа. Но такое суждение будет по меньшей мере поспешным. Что выносил этот самый народ в мирные времена панского управления? А затем, не таким же ли казням подвергался он в случае торжества высокообразованных Потоцких, Конецпольских, Вишневецких? Кто, как не Иеремия Вишневецкий кричал в исступлении: “Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!” Насилье за насилье, смерть за смерть, казнь за казнь – таков был лозунг обеих воюющих сторон. За посягательство в спокойные времена на православные святыни отвечали теперь поруганием и издевательством над католическими святынями: костелы грабили и жгли, устраивали в них пьяные оргии, образа рубили и уродовали, мертвые тела вытаскивали из усыпальниц и выбрасывали вон и т.д. Еще страшнее народная месть разразилась над евреями, которые, как говорится в одной думе, все казацкие дороги заарендовали и на каждой миле поставили по три кабака, все торговые места заарендовали и на всякие привозимые казаками продукты наложили пошлину, все казацкие церкви заарендовали и брали поборы за всякое отправление религиозных потребностей, все казацкие реки заарендовали и так далее, и так далее. И вот разом сгинули не только все эти аренды, но, можно сказать, почти все еврейское население на Украине. Современник-еврей Ганновер рассказывает страшные ужасы о неистовствах народа на левой стороне Днепра. В его описании краски, несомненно, сгущены, единичным случаям придан общий характер, но тем не менее факт остается фактом: евреев вырезали поголовно и придумывали им такие казни, какие только могли прийти в голову, опьяненную кровью.

В левобережной Украине волнение началось, лишь только дошли первые вести о действиях Богдана Хмельницкого. Здесь на страже польско-шляхетских интересов стоял Вишневецкий, владевший громадными пространствами в теперешней Полтавской губернии по рекам Сула и Псел. Этот завзятый магнат, колонизатор степи, отличался не меньшей жестокостью, как мы тотчас говорили, чем Ганжа, Кривонос и другие предводители казацких загонов. Решительный в своих действиях, он собрал немедленно шляхтичей тысяч до восьми и стал разгонять мятежные скопища. Виселица и кол обозначали путь, по которому он подвигался. Так он прошел от Лубен до Переяславля и хотел переправиться через Днепр, чтобы идти на помощь Потоцкому, как услышал, что Переяславль возмутился и Кривонос, его достойный соперник по кровожадности, готовится

напасть на него. Вслед за тем к нему явились посланцы от Богдана Хмельницкого; казацкий предводитель извещал о своей победе под Корсунем и просил не проливать крови. Вишневецкий посадил посланцев на кол, а сам поспешил отступить к Лубнам и, взяв жену, бежал на правую сторону Днепра.

Но и на правой стороне восстание было уже в полном разгаре. На Подолье действовали загоны Ганжи, Остапа Павлюка, Половьяна и Морозенка. Укрепленные замки и города Немиров, Нестерово, Винница, Брацлав и другие были взяты и разорены. “По всему Подолью до самой Горыни (приток Припяти) панские замки, города, местечки лежали в развалинах; кучи гнивших тел валялись без погребения, пожираемые собаками и хищными птицами; воздух заразился до того, что появились смертельные болезни. Дворяне бежали толпами за Вислу, и ни одной шляхетской души не осталось на Подолье”. В это время среди растерянных шляхтичей и евреев появляется Вишневецкий. “О, – говорит он, – я накажу изменников так, что и свет не слыхал еще такой кары!” Настал в полном смысле слова “ад человеческой злобы”. Злополучный Немиров, не сдавшийся по первому требованию Вишневецкого, испытал на себе всю жестокость его необузданного сердца. На глазах этого высококультурного аристократа немировцам вырывали глаза, распинали их, разрубали пополам, сажали на кол, обливали кипятком, и он находил какое-то удовольствие в зрелище всех этих мучений и еще больше разжигал палачей. Но и здесь он встретил своего соперника Кривоноса, этого характерника, как считали в народе, то есть человека, которого не брала вражья пуля. После нескольких стычек Вишневецкий, опасаясь, что скоро на помощь Кривоносу придет сам Хмельницкий, отступил еще дальше в глубь страны, к Збаражу, куда раньше бежала Гризельда, его жена. Теперь мятежные загоны могли свободно разгуливать и по Волыни. Города Кременец, Острог, Луцк, Владимир и другие были взяты и признали над собою власть Хмельницкого. “Мы сидим, – писал один современник из Волыни, – с женами и детьми под страхом нападения день и ночь, каждую минуту. Взрослые обоего пола и дети толпятся в костелах; ксендзы воссылают молитвы об отвращении гнева Божия. Говорят, семьдесят казаков пущено по Волыни возмущать хлопов и мещан”. “Христиане над христианами, – писал Кисель, – совершали на Волыни такие жестокости, какие не делают даже турки и татары”. Загоны доходили до самого Бреста, который также подвергся разорению. Таким образом, казаки действительно были уже недалеко от Белой реки (Вислы), за которую они угрожали полякам пробраться.

В Белой Руси гуляли загоны под начальством своих атаманов: Небабы, Кривошапки, Хвеська и других. Города Гомель, Львов, Брахин, Пинск, Могилев побывали в руках мятежников. Даже в Червонной Руси под Львовом и в самом Львове, где поляки чувствовали себя, как дома, было далеко не спокойно. Был даже случай открытого возмущения хлопов. “Везде около Львова, – писал один местный обыватель, – поляку и жиду опасно проехать по дороге: подстерегают, нападают, убивают, мучат. Вся Русь дышит злобою ко всему католическому и шляхетскому!”

# Глава IV. Разгром

***Медлительность Хмельницкого. – Сейм. – Посылка комиссаров. – Польское войско и польские паны. – Разгром шляхты под Пилявою. – Осада Львова. – Недовольство черни. – Осада Замостья. – Разговоры на сейме. – Избрание Яна Казимира. – Первые шаги нового короля. – Универсал Хмельницкого. – Въезд в Киев. – На вершине славы. – Решимость "кончать ляхов". – Сношения с Москвою. – Переговоры с польскими комиссарами. – Поздно! – Война за веру и народ. – Больше дипломат, чем строитель***

Так стремительно разгоралось пламя восстания, пока Богдан Хмельницкий стоял под Белой Церковью и вел разные дипломатические переговоры. Он отправил, как мы говорили, депутацию на сейм, приглашал к себе Киселя для переговоров, вел переписку с пограничными московскими воеводами. Он согласен был, по-видимому, идти на мировую с поляками. Но не без его, конечно, ведома и даже не без его согласия разносили во все стороны южнорусской земли пламя восстания казацкие и холопские загоны. Нужно было воспользоваться моментом, нагнать страх на панов, пока они еще не успели прийти в себя и собраться вокруг удалого воина, хотя бы такого, как Вишневецкий, разорить их поместья, показать им воочию все их бессилие и тем вынудить на такое соглашение, какое было бы наивыгоднее для казаков. Неистовства же народа никоим образом не падали на него лично; все это было делом рук разных Кривоносое, Ганжей и им подобных, в то время, как с польской стороны Вишневецкий, например, лично распоряжался казнями и придумывал всевозможные муки. В таком виде он представлял дело в Варшаве и медлил с военными действиями, хотя и приготавливался к ним, выжидая, какой ответ от сейма привезут казацкие депутаты.

В Польше наступило тревожное время безвластия. Владислав умер, не оставив наследника. Предстояли выборы нового короля. В стране, где каждый великопоместный магнат мог питать тщеславные мысли о королевском сане, такой момент был далеко не безопасен для всего государства. Но собравшийся теперь в Варшаве сейм только выслушал извещение о смерти короля и занялся главным образом обсуждением вопроса о подавлении казацкого мятежа. Первым делом решено было послать против мятежников войско, для чего набрать из провинций 36 тысяч человек в виде земского ополчения. На беду, государственная казна оказалась пуста, в ней, как доложил сейму министр

финансов, было всего 76 тысяч злотых; из русских провинций поступление доходов за всеобщим разорением прекратилось, да и из самой короны (Польши) значительно уменьшилось. На этот раз, следовательно, паны не могли даже откупиться от татарской орды, помогавшей казакам. Решено было нанимать в войско преимущественно шляхтичей и чужеземцев, хлопов же избегать, так как на их верность нельзя было положиться. Во главе ополчения поставили трех предводителей: Заславского, Конецпольского и Осторорога. Паны опасались диктатуры, кажется, больше, чем казацкого разгрома; они побоялись вручить предводительство Иеремии Вишневецкому, несмотря на все его военные заслуги и популярность, какой он пользовался среди войска; побоялись, быть может, именно вследствие этих его достоинств, хотя он был, бесспорно, самый подходящий человек для роли полководца.

Вопрос же, чем вызвано народное волнение, сейм стал обсуждать уже после того, как порешил подавить его силой. Призвали казацких депутатов. Они дали объяснения, известные нам по инструкции и письму Хмельницкого. Между панами возникло разногласие. Одни стояли за беспощадное подавление восстания, не входя в рассмотрение причин, вызвавших его. Другие были благоразумнее и говорили:

“Не надо бранить казаков за то, что они якшаются с татарами; можно обратиться к самому аду, лишь бы избавиться от такого рабства и утеснения, какое они терпели~ Казацкий комиссар был поляк, полковники – поляки, гарнизоны на Запорожье состояли постоянно из поляков~ Можно бы и суд установить для тех, которые вздумали бы обижать и притеснять казаков~ Я советую, чтобы казаки были удовлетворены во всем”.

Радзивилл находил, что причиною бури “были грехи наши да угнетение убогих”. Кисель предлагал покончить миром с казаками. Даже между духовными сенаторами были такие, которые предлагали даровать казакам амнистию, восстановить казацкие вольности и устранить ненавистного казакам Вишневецкого от предводительства коронным войском. Бурю негодования вызвало разоблачение каких-то таинственных сношений между покойным королем и казаками и желание казаков, чтобы паны стали простой шляхтой, а король был один главою над всеми. Канцлера Оссолинского называли изменником; раздавались требования исследовать все дело судебным порядком. Прения принимали дурной для казаков оборот; партия Вишневецкого легко могла восторжествовать, если бы Оссолинскому, умевшему выходить сухим из воды, не удалось и на этот раз успокоить расходившихся панов. В конце концов

решено было, прежде чем начинать военные действия против казаков, послать к ним комиссаров и попытаться покончить дело миром. Казацким же депутатам вручили от всего сейма письменный ответ такого рода:

“Нет надобности объяснять вам вашего поступка: вы сами знаете, что поступили против присяги Богу, против всех христианских обязанностей, когда осмелились поднять саблю на христиан, соединившись с неверными и пользуясь малочисленностью и неустройством Речи Посполитой. Хотя, с милостию Божией, Речь Посполитая могла бы отомстить вам, и, верно, Бог сам благословил бы нас на то, но, не желая более проливать крови христианской, Речь Посполитая склоняется на ваши униженные просьбы: вам назначают комиссаров из людей знатных и не отказывают вам в прощении, однако требуют, чтобы вы прежде отпустили всех пленников, обратили бы внимание на предводителей своевольных шаек, которые нападают на шляхетские дома, и представили их перед панами комиссарами, разорвали бы заключенный с татарами союз и впредь не имели бы никакого отношения с погаными. Тогда ожидайте комиссаров”.

Между тем на Руси разнесся слух, будто бы поляки посадили на кол казацких депутатов. Мирное соглашение казалось невозможным. Кривонос громил панов на Волыни, и сам Хмельницкий, сняв свой обоз, двинулся вперед. Но на пути он встретил казацких депутатов, а затем и посланцев Киселя, ехавших для мирных переговоров. Хмельницкий остановился. Ответ сейма не мог, однако, удовлетворить казаков: в нем ничего не говорилось, примут ли паны при переговорах во внимание требования казаков. Посланцы же Киселя привезли лист, писанный от имени комиссаров, и того менее еще успокоительный: о правах казаков снова не было ни слова, а вместе с тем от них требовали удаления татар и возвращения полякам взятого в бою оружия, казни предводителей загонов, то есть от казаков требовали, чтобы они, лишив себя союзников и оружия, предались на полную волю поляков. В лагере Хмельницкого поднялся ропот; его самого стали подозревать в потачке панам. При таких условиях мир, конечно, был немыслим. Миротворец Кисель так даже и не добрался до лагеря Тамерлана, как он называл Хмельницкого. Столь же безуспешно было и посредничество киевского митрополита Сильвестра Коссова. Может быть, Хмельницкий и искренне говорил ему, что сам он готов миром покончить распрю, но что общая рада не соглашается. Вообще, при первых же переговорах обнаружилось глубокое заблуждение польских панов относительно истинного характера восстания; они не прочь были удовлетворить разными

подачками казацкую старшину, но совершенно игнорировали народ, а между тем восставшая чернь представляла силу, которой вынужден был подчиняться в решительных случаях даже сам казацкий батько.

Итак, военные действия снова должны были открыться. За эти несколько месяцев выжидания восстание сделало громадные успехи. Весь край к югу от реки Случ был в руках мятежников, и казаки действительно могли говорить, как поется в думе: “Отак, ляше: по Случ наше”. Хмельницкий успел перенести театр военных действий в самый центр русской земли, откуда к нему беспрестанно стекался со всех сторон народ и где он был обеспечен продовольствием. Он собрал большое войско и мог дать хоть какое-нибудь устройство этим беглым толпам, не имевшим даже оружия. Поляки также не теряли даром времени. Они выставили против казаков войско, состоявшее из земского ополчения и панских команд. Но несогласия между панами, обнаружившиеся на сейме, и тут произвели раскол. Вишневецкий не хотел подчиниться триумвирату из Заславского, Конецпольского и Осторорога и стал отдельным лагерем под Константиновым. Действительно, это был постыдный триумвират. Хмельницкий потешался над ним и называл Заславского *перыною* за его изнеженность, Конецпольского – *дытыною* ввиду его молодости и неопытности, Осторорога – *латыною* за его ученость. Многие паны переходили со своими командами из главного лагеря к Вишневецкому, выражая явное нежелание находиться под начальством “перыны” – Заславского. Только приближение грозного врага заставило помириться гордых магнатов, и главный польский лагерь передвинулся также к Константинову. Любопытно, что, выступая в поход на защиту своих панских прав, польские паны как бы сговорились явиться перед взбунтовавшимися сермяжными хлопами во всей роскоши и блеске своего богатства. Они, по-видимому, думали, что им не придется даже сражаться, что один их театрально-величественный вид, все эти панские побрякушки тотчас же снова загипнотизируют хлопа, проснувшегося от тяжелого сна~

“Шляхта, – рассказывает поляк, – выступила в поход с такою пышностью, на какую только могла собраться после многолетнего мира. Добыли паны из скарбовень богатейшее оружие, оделись в рыси и соболя, забрали пурпурные раззолоченные рыдваны и полные дорогих одежд, серебра, золота, драгоценностей, обоев скарбовые возы, а было много таких товарищей (товарищем назывался рядовой шляхтич), которые, чтобы сравняться с другими, продали последнее имущество. Так явилось под стенами Львова (во время передвижения на Украину) сорок тысяч шляхты,

снарядившейся как бы на свадебное торжество. Мигали в толпе протканные серебром шелки, бархаты, золотые пояса, серебряные панцири и шлемы; шумели на всадниках сокольи крылья, колыхались бриллиантовые кисти, а пышные кони в позолоченной упряжи, в шелковых сетках выступали на серебряных подковах~ Войско шло на Украину, как на коронацию. Двести тысяч слуг в легком вооружении сопровождали бесчисленные панские возы и кареты. Хотели показать взбунтованным хлопам, что это идут паны; шляхта похвалялась, что будет воевать с хлопами не саблей, а нагайкой".

Вся эта роскошь располагала не к войне, а к непрерывному пированию. Паны проводили время в кутежах; за ними тянулось и наемное войско. Взятое вперед жалование было скоро промотано; жолнеры стали добывать себе пропитание обычным своим манером – грабежом. "Королевские и шляхетские села, – писал львовский архиепископ, – опустошены до крайности, доведены до голода; люди не в силах терпеть и разбегаются куда глаза глядят".

Паны пировали, а Хмельницкий поджидал орду на помощь. Чтобы еще больше усыпить врага, он снова возобновил переговоры с Заславским и просил его уладить несогласие, возникшее между казаками и Речью Посполитой. Такое предложение льстило великому магнату и вызывало раздор среди польских военачальников. Заславский собрал военный совет. Кисель, также присоединившийся к польскому лагерю, на вопрос, что делать, отвечал:

"Воевать, но не сражаться; медлительною проволочкою времени мы можем достигнуть вернейшей победы и прочнейшего мира".

Пан Цехлинский поддерживал Киселя:

"Нам следует советом, а не оружием, – говорил он, – отклонить и сокрушить замыслы мятежников".

Вишневецкий твердил свое:

"Это просто мечты, а не рассуждения, – возражал он миротворцам, – уверяю вас, начатое дело может кончиться только гибелью одного из неприятелей".

Спор решил Заславский своим в высшей степени характерным рассуждением:

"Победа в наших руках, это так, – сказал он, – но какая польза от победы? Если мы истребим казаков, то никто столько не потерпит, как я. Большая часть мятежников состоит из моих хлопов; для чего *я буду губить своих собственных подданных, когда могу уладить спор с ними мирными средствами?* Никогда я этого не сделаю! Тем хорошо так советовать, которые не имеют

здесь маетностей; но я что буду делать, истребив их! Сам земли пахать не умею, а милостыни просить стыжусь".

Вот он, один из сильнейших мотивов, почему паны так долго медлили с решительными средствами и старались уладить распрю миром. Кто же враг себе? А подавлять мятеж – это значит изводить собственное имущество своими же руками. Около двух недель продолжались переговоры. Наконец и Заславский убедился, что все это – хитрость Богдана, затягивавшего время в ожидании орды, и передвинул свой стан ближе к казакам, стоявшим под Пилявою. Начались "герцы", стычки, но до боя всеми силами дело не доходило. Поляки увидели, что одними плетьми им не справиться; к тому же позиция у них оказалась неудобная, болотистая, изрезанная ярами. В лагере царила неурядица. Какой-то страх перед неминуемой бедой овладевал панами. Наконец крики: "Татары пришли, татары пришли!" – довершили все дело. Татары действительно пришли, но всего только четыре тысячи. В то время, когда казаки готовились к серьезной битве, польские военачальники решили тайком бежать, а власть передать Вишневецкому. Было, однако, уже поздно. В ночь с 22 на 23 сентября по лагерю распространилась скандальная весть, что предводителей уже нет и все воинство бросилось вслед за ними, точно панургово стадо. Поляки бежали, побросав оружие и все панские припасы на добычу врагам. По словам современников, казакам досталось до 120 тысяч возов с лошадьми, 80 пушек и примерно на 10 миллионов польских злотых всяких драгоценностей. Четыре дня праздновали победители, упиваясь припасенным панами вином, медом, пивом. А поляки бежали без оглядки до самого Львова. Едва ли кто-либо из них мог объяснить причину такого панического страха, охватившего панов после не менее же чрезмерной самонадеянности. В Польше подняли ропот против беглецов; требовали казни виновников неслыханного позора. Но кого казнить? Всех? Преступники остались безнаказанными по своей многочисленности. На сейме Радзивилл прямо говорил, что из-под Пилявец поляки "бежали *ни от кого;* ибо гордость, распутство, угнетение и мучение убогих людей, – вот те, которые нападали на них!" И затем заявил, что брошенные панами возы "были нагружены *имуществом хлопов,* а потому хлопам и достались". Теперь перед Хмельницким открылись настежь двери в саму Польшу. Варшава и Краков были в страхе. Лишенные войска, они едва ли устояли бы при быстром натиске со стороны казаков. Но к чему бы привел полный разгром Польши? Речь Посполитая была еще сильна, и она собралась бы с силами, чтобы отстоять свое существование. Ведь не мог же казацкий Тамерлан

рассчитывать, чтобы кичливые паны посадили его на вакантный королевский престол как победителя! На этот престол было много претендентов, в том числе и московский царь Алексей Михайлович. Против посягательств Хмельницкого на Польшу восстали бы не только в Западной Европе, где папа в случае надобности не затруднился бы объявить даже крестовый поход против новой угрозы для католического мира, но и в Москве, которая не прочь была воспользоваться в своих интересах внутренними раздорами соседнего королевства, своего исконного врага. Недавно еще разгромленная поляками, Москва не хотела воевать; она надеялась достигнуть своей цели мирным путем, через избрание на польский престол самого царя или царевича. В этом смысле и велись переговоры. Понятно поэтому, что московское правительство не только отказывало до поры до времени в своей поддержке казакам, но скорее даже было на стороне поляков. Стоило только вкритическую минуту панам предложить польскую корону царю, и московское оружие обратилось бы против беспокойной казатчины. Хмельницкий был не только хороший воин, но и вообще человек “великих способностей”, как писал о нем Осторог. Как ни манила вперед перспектива полного разгрома перетрусивших панов, он остановился. Нужно было предоставить панам возможность к отступлению, возможность обратиться к мирным средствам, чтобы покончить братоубийственную воину. Лучшим исходом Хмельницкий считал (и то немного позже) основание южнорусского удельного княжества. Но при нежелании Москвы поддержать казаков такое княжество в ту пору было мыслимо только в союзе с поляками. Поэтому не следовало делать из них непримиримых врагов, и мы видим, что Хмельницкий как бы отказывается пользоваться своими победами. Эта тактика была, конечно, также рискованна и, кроме того, постоянно приводила его в столкновение с массой, которая не заглядывала в далекое будущее и увлекалась минутой успеха.

Так и после Пилявецкой победы Хмельницкий колебался, хотел возвратиться на Украину, послать депутатов на сейм и выжидать избрания короля. Быть может, в этот именно момент следовало действовать решительно и не выжидать в степях Украины, а подписать под стенами Варшавы с оружием в руках мирный договор. Масса действительно рвалась за Вислу и увлекала его. Хмельницкому пришлось уступить раде; но он был против опустошения Польши и решил сдерживать своих казаков даже обманом и хитростью. Некоторых полковников он разослал с отрядами по Волыни и Полесью с поручением очистить русскую землю от ляхов, остальное же войско повел к Львову и осадил его.

Жители города решились сопротивляться и приготовились к осаде. Почин в этом деле сделала некая шляхтянка Катерина Слоневская. Она принесла на сходку свое имущество и обратилась к Вишневецкому с горячей мольбой стать во главе ополчения и спасти отечество. Энтузиазм овладел всеми собравшимися. Вишневецкий был избран единогласно полководцем. На собранные пожертвования он нанял жолнеров, сколько можно было найти желающих в городе; сам же отправился в Варшаву, где должен был собраться сейм для избрания короля, а защиту города возложил на испытанного генерала Артишевского. Хмельницкому жаль было громить Львов, эту столицу древнерусского княжества. После довольно продолжительной осады он взял с жителей выкуп в 200 тысяч червонных злотых и хотел было отступить в Украину, но казацкая чернь во главе с Чернотою возроптала и кричала одно: “Пане гетмане, веди на Польшу!” Волей-неволей Хмельницкому пришлось повиноваться. Казаки осадили сильный и почти неприступный замок Замостье, где Вишневецким оставлен был хороший гарнизон и достаточно съестных припасов. Хмельницкий действовал и здесь медлительно, вызывая ропот и даже негодование массы. “Наш гетман так распился, – кричал Чернота, – что ни о чем не думает, и страх овладел им~ Пан гетман начал потакать полякам, ведет с ними тайные сношения и обманывает войско!” Подобного рода обвинения в потачке полякам раздавались, как видим, все громче и громче. Хмельницкий порешил наказать бушевавшую чернь, жадную на грабеж, но малоспособную к правильным военным действиям. Он поставил ее в передние ряды и повел на приступ. Нападение было неудачным, буяны сильно пострадали и присмирели. После этого казаки не возобновляли уже неприязненных действий.

Они взяли небольшой выкуп и стояли табором под Замостьем, выжидая решения сейма. На сейме Адам Кисель следующим образом обрисовал общее положение вещей:

“Ни один монарх на свете, – говорил он, – не может устоять против него (Хмельницкого). Мы потеряли все, он приобрел все. Когда выстрелит сотня наших немцев, они убьют одного. Когда выстрелит сотня казаков, они наверное попадут в 50 человек. Огнистый народ. Численность его велика: нам с ним не совладать. Легче было совладать, пока не повторилась победа. Теперь на наши силы нет больше надежды. Это такой тиран, которого надобно или терпеть, или прогнать, или умолить. Терпеть это – дело невыносимое и для Речи Посполитой постыдное. Чтобы прогнать неприятеля, на это нет сил у нас. А умилостивить его можно вот каким образом. Надобно как можно

скорее выбрать такого человека, который бы разведал: почему первая комиссия была недействительна? А тут казаки познают короля, которого они все же боятся, тогда как Речь Посполитую презирают и ставят ни во что. Благоволите, господа, ведать, что для этих мужиков маестат республики не существует. “А що воно Рич Посполита? – говорят они. – Сами мы Рич Посполита, але король, ото в нас пан!”

Хотя некоторые из панов и негодовали на Киселя и видели в нем чуть ли не шпиона Хмельницкого, однако большинство в душе было согласно, что остается одно средство – *умилостивить* врага. Оно, это большинство, бледнело при одной мысли о возможности появления казаков под Варшавой и готовилось к бегству, так что на сейм внесено было предложение запретить панам вывозить свое имущество по Висле в Данциг, даже хлеб, под видом которого отправлялись разные вещи. Паны не понимали всей важности переживаемого момента. Они много говорили и мало делали. В дневнике Радзивилла встречаются такие записи:

“Совещаются так, как будто в самое мирное время, совещаются для забавы. А неприятель находится сегодня уже только в 14 милях от Варшавы~ Одни советовали, как бы идти навстречу неприятелю, другие – как бы оборонить переправу на Висле, третьи – как бы защищаться в Варшаве. Таковы были рассуждения, а самое дело обстояло так, что все живые укладывали свои “робы” в сундуки, шнуровали тюки; отправляли готовые возы; снастили шхуны и ялики. По улицам ни о чем больше нет речи, как о том, что паны собираются в путь”.

Несмотря на весь свой испуг, паны не решились все-таки вручить хотя бы временно безусловную власть Вишневецкому и не выбрали в короли мало-мальски способного человека. Вишневецкому поручили набирать войско и предводительствовать им, но за ним не признали даже гетманского достоинства, а на королевский престол посадили Яна Казимира, человека хилого телом и духом, получившего иезуитское воспитание и даже принадлежавшего к иезуитскому ордену. На избрание Казимира оказал громадное влияние Хмельницкий. Казацким депутатам было поручено прямо заявить сейму о желании казаков видеть именно его на польском престоле. Затем Хмельницкий отправил в Варшаву еще ксендза Мокрского с письмом к сеймовавшим панам, в котором оправдывал себя и взвалил всю вину на Вишневецкого и Конецпольского; кроме того, Мокрский должен был агитировать от имени казаков в пользу Казимира. Что побуждало Хмельницкого так упорно стоять за этого ничтожного иезуитского

ученика, остается неизвестным. Между ними были сношения еще раньше и, вероятно, Казимир, не рассчитывавший на поддержку панов, пообещал исполнить все желания казацкого батьки. Он же добивался прощения “невольного прегрешения” (поднятого восстания), “неодобрения тех панов, которые всему злу причиной” (Вишневецкий, главным образом) и умиротворения казачества путем признания за ними всех тех вольностей и привилегий, о которых мы говорили выше. Хмельницкий признавал себя все еще “верным слугой Речи Посполитой”, но пощады, милости, даже просто справедливости от панов он, конечно, не мог ожидать. Другое дело король, им собственно посаженный на престол и имевший против себя большинство панов. Такой король будет у него в руках.

И действительно, первые шаги новоизбранного правителя были в высшей степени миролюбивы. Правда, он предписывал Хмельницкому немедленно отступить на Украину.

“Я избран, – писал он в своем приказе, – польским королем по единодушному согласию обоих народов, так как ты сам, Хмельницкий, требовал этого пламенно в некоторых письмах своих: и частных, и посланных в сенат. Признай же во мне верховного наместника великого Бога, не опустошай по-неприятельски областей польских и перестань разорять моих подданных. Отступи от Замостья; я желаю, чтобы это было первым доказательством твоего послушания~”

Но вслед за этим, когда Хмельницкий, повинуясь приказанию, снял свой табор и двинулся на Украину, его нагнал другой посланец и привез ему булаву и хоругвь. Важнее этих знаков отличия были следующие слова в королевском послании:

“Что касается междоусобия, которое, к сожалению, продолжается до сих пор, – писал король, – то мы сами теперь видим и соглашаемся с вами, что причины его те самые, которые вы изложили в письме вашем, а запорожское войско не виновато. Вы желаете, чтобы запорожское войско состояло под властью нашею, независимо от украинских старост; мы того же хотим и, уразумев от послов ваших ваше справедливое желание, желаем привести его в действие через комиссаров как можно лучше. Относительно унии мы также хотим удовлетворить просьбу вашу надлежащим образом”.

Таким образом, Хмельницкий вполне достиг своей цели. Если казаки, как говорил Кисель, действительно не хотели знать никакой Речи Посполитой и признавали одну только королевскую власть, то они имели теперь короля, готового плясать под их дудку. Но, увы, человек, готовый плясать по чьей бы то ни было дудке, не бывает годен ни на какое серьезное дело. Вручить

власть в руки такого человека значит отнять у власти всякий *нравственный* смысл и превратить ее в нестерпимое *насилие.* Иезуитская дудка оказалась сильнее казацкой.

Оправданный и признанный королем, Хмельницкий распоряжается теперь как полновластный гетман. Он обращается с универсалом не только к народу, приказав загонам прекратить свои набеги, но и к дворянам, и говорит с ними, как человек, держащий в своих руках судьбу Польши.

“Желаю, – писал он, – чтобы, сообразно воле и приказанию его королевского величества, вы не замышляли ничего дурного против нашей греческой религии и против ваших подданных, но жили с ними в мире и содержали их в своей милости. А если, сохрани Боже, кто-нибудь, упрямый и злой, задумает проливать христианскую кровь и мучить убогих людей, то виновный нарушитель мира и спокойствия, установленного его королевским величеством, доведет Речь Посполитую до гибели”.

Может быть, этот универсал имел в виду опять-таки Вишневецкого, главного теперь Богданова ненавистника, от которого каждую минуту можно было ожидать новой кровавой расправы над хлопами; но Хмельницкий придал ему общий характер и оповещал всех панов, что если они будут относиться к своим хлопам по-прежнему, мир и спокойствие продлятся недолго. Отныне прежние отношения стали немыслимы. Отныне угнетенные и обиженные найдут себе заступника в лице человека, признанного самим королем. Будьте же осторожны! Иначе вы снова приведете свое отечество на край гибели. С другой стороны, этот универсал развязывал руки и всему “хлопству”: ему запрещено было составлять загоны и грабить панское добро, но в то же время гетман давал понять, что, в случае какого-нибудь насилия со стороны панов, хлопы могут действовать свободно; он уже заранее оправдывает их. И действительно, кровавые столкновения между панскими командами и хлопскими загонами не прекратились, несмотря на чрезвычайно любезный и миролюбивый обмен посланиями между иезуитом-королем и казаком-мятежником.

Из-под Замостья Хмельницкий направился в Киев. Въезд в древнерусскую столицу был настоящим триумфальным шествием победителя, у стен Св. Софии его встретил митрополит со всем клиром при звоне колоколов, пальбе из пушек, радостных восклицаниях народа; бурсаки из духовной коллегии пели сочиненные в честь него стихи, а иерусалимский патриарх Паисий произнес приветственную речь на латинском языке, в которой называл Хмельницкого “знаменитейшим князем”. Понятно, с каким восторгом встречал простой народ своего героя;

рассказывают, что в церкви ему целовали ноги. Молва о нем разнеслась до отдаленнейших государств Западной Европы. Так, английский мятежник Кромвель прислал своему украинскому собрату грамоту на латинском языке, из которой уцелели только следующие заглавные слова:

“Богдан Хмельницкий, Божею милостию генералиссимус греко-восточной церкви, вождь всех казаков запорожских, гроза и искоренитель польского дворянства, покоритель крепостей, истребитель римского священства, гонитель язычников, антихриста и иудеев~”

Что писал Кромвель, остается неизвестным; но очевидно, культурный западник, вступивший в борьбу с правоправящими классами тогдашней Англии со шпагой в одной руке и Библией в другой, видел что-то родственное себе в малокультурном сыне диких степей. Хмельницкий находился тогда на вершине своей славы. Едва ли он когда мечтал о таком положении и, во всяком случае, нестремился к нему сознательно, не домогался его. Еще так недавно он отстранял от себя гетманское достоинство, а теперь его величают “знаменитейшим князем”! Разве он поднял меч с тою целью, чтобы искоренить польское дворянство, истребить римское священство, иудеев, наконец, самого антихриста? Нет, он принужден был взяться за меч, чтобы спасти свою голову. Но оказалось, что и целому народу надо было спасать свою голову, и он как человек “великих способностей” стал *вождем* своего народа. Эта страна, год-два тому назад цветущая и обильная “плодами земными”, а теперь представлявшая дымившуюся руину, этот народ, встречавший его как своего избавителя, наконец, эти речи патриарха, “святого отца”, ясно говорили ему, что дело идет уже вовсе не о спасении собственной головы. Рассказывают, что Хмельницкий в Киеве сильно переменился. То он грустил, постился, лежал по целому часу ниц перед образами и подолгу беседовал с Паисием и другими духовными особами; то вдруг, как бы неудовлетворенный благочестивыми беседами, призывал к себе колдуний и требовал от них, чтобы они своими чарами и заклинаниями раскрыли будущее; то, наконец, бросал тех и других, предавался пьянству в компании со своими испытанными товарищами, слагал “думы” про свои кровавые дела и пел их. В обращении с другими он был также неровен: то доступен и ласков, то горд и суров. Очевидно, в нем шла какая-то внутренняя работа. Он, несомненно, спас свою голову. Король и паны, в том числе даже непримиримый враг Вишневецкий, готовы были забыть все его сокрушительные деяния и осыпать почестями. Но за народом, боровшимся вместе с ним, польская шляхта по-

прежнему не хотела признать никакого права на самобытное существование. Что же делать ему? Неужели он пойдет против народа? Паисий благословлял его на новую войну, советовал “кончать ляхов” и образовать самостоятельное, удельное княжество. Паисий отпустил ему все прегрешения и причастил его~ “Как же мне было, – говорит он польским комиссарам, – не послушать такого великого патриарха, головы нашей и гостя дорогого?” Хмельницкий решился продолжать войну за православную веру и за весь русский народ, чтобы “выбить его из лядской неволи”.

Пока польские комиссары, назначенные сеймом для переговоров с казаками, собирались в путь, Хмельницкий успел завязать сношения с татарами, турками, волохами, венграми и с Москвою. По мере того, как надежда быть избранным в польские короли слабела, Алексей Михайлович становился все суровее и суровее к полякам и ласковее к казакам. Раньше он решительно отклонял всякие предложения казаков, указывая на то, что у него с польским королем заключено “вечное докончание”. Теперь же он посылает к Хмельницкому гонца Унковского, который раздает казацкой старшине царское жалованье и говорит, что царь “жалует и милостиво похваляет” казаков, мало того, что царь даже готов принять их под свою высокую руку, “если, даст Бог, вы освободитесь от Польши и Литвы без нарушения мира”. “Да мы и теперь свободны, – отвечал на это Хмельницкий, – целовали мы крест служить верой и правдой королю Владиславу, а теперь в Польше и Литве выбран королем Ян-Казимир и коронован; однако нас Господь от них избавил. Короля мы не выбирали и креста ему не целовали, а они к нам о том не писали и не присылали, а потому мы свободны. Почему же теперь государю не помочь нам?” На такие речи Унковский отвечал только, что гетман говорит их, “не помня к себе царской милости”, как бы не понимая, что дело идет вовсе не о милостях, а о воссоединении разрозненного народа в одно политическое целое. Зато в переговорах с польскими панами московский посол Кунаков начинает явно наступательную политику. Дело начинается, как и обыкновенно бывает в международных сношениях, с мелочных придирок. Почему, говорит Кунаков, в расписании предстоявшей ему аудиенции у примаса и панов-рады не сказано, что про здоровье царя Алексея Михайловича они должны спрашивать стоя? На приеме не должен присутствовать римский легат, продолжает сурово выговаривать московский дьяк. “Даже помыслить непристойно и страшно”, как это паны-рады хотели в благодарственной грамоте московскому царю написать сперва имя своего новоизбранного короля, потом имя арцибискупа

гнезненского и всех панов-рады, а потом уже имя московского царя с его полными титулами~ и т.д. Несколько позже уже сам царь Алексей Михайлович пишет в ответ Яну-Казимиру, извещавшему о своем избрании, что тот “непристойно” выхваляет умершего брата своего “великим светилом христианства, просветившим весь свет” и т.д., потому что существует “одно светило всему, праведное солнце – Христос”. Ясное дело, что Москва искала теперь предлога к разрыву “вечного” мира.

Наконец собрались в путь и польские комиссары. С большими затруднениями пробирались они по стране, все еще охваченной восстанием. Уже в пути они убедились, что из их миссии ничего не выйдет, и писали в Варшаву, чтобы там готовились к неизбежной воине. Хмельницкий поджидал их в Переяславле и устроил торжественную аудиенцию под открытым небом на площади на виду массы казаков и простого народа, толпившегося на улицах и крышах домов. Во главе комиссаров снова стоял Кисель, у которого, по меткому выражению казаков, “русские кости обросли польским мясом”. Он поднес Хмельницкому королевскую грамоту на гетманство и булаву; затем гетману вручили еще и красное знамя с изображением белого орла. По прочтении грамоты в толпе вдруг раздался голос:

“Зачем вы, ляхи, принесли нам эти цяцьки? Знаем мы вас; вы снова хотите нас в неволю прибрать!” За ним другой: “~Теперь вы нас уж не взнуздаете; не словами, а саблей разделаемся, если вздумаете. Пусть вам будет ваша Польша, а нам, казакам, пускай остается Украина~”

Хмельницкий осадил непрошеных ораторов, но сам не нашелся ничего сказать и пригласил комиссаров к себе на обед. Затем начались сами переговоры. Они велись с большими усилиями со стороны польских комиссаров, так как Хмельницкий и казаки явно не желали вступать ни в какие соглашения. От Хмельницкого требовали, чтобы он как верный подданный короля положил конец восстанию, не принимал под свое покровительство простых холопов, привел их в повиновение своим прежним панам и пришел к соглашению с комиссарами насчет будущего устройства казацкого войска. Но теперь Хмельницкий был, как мы знаем, уже не тот, что под Замостьем. Он не считал возможным мирное соглашение с поляками на основании предлагаемых ими условий, готовился к новой воине и потому относился чрезвычайно пренебрежительно к комиссарам. На докучливые просьбы последних он, не стесняясь, кричал:

“Завтра будет справа и расправа, потому что я теперь пьян... скажу вам коротко: из той комиссии ничего не выйдет; война должна начаться не позже, как через три или четыре недели;

переверну вас всех, ляхов, вверх ногами и потопчу так, что будете под моими ногами, а напоследок отдам вас турецкому царю в неволю~" "Было время, – говорил он в другой раз, – вести переговоры со мною, когда Потоцкий гонял меня за Днепром, и на Днепре было время и после желтоводской, и после корсунской забавы, и после Пилявцев, и под Константиновым, и в последний раз под Замостьем, и когда я из Замостья шел шесть недель в Киев, а теперь уже не время; теперь я уже доказал то, о чем и не думал, докажу еще и то, что задумал. Выбью из польской неволи весь русский народ. Сначала я воевал за неправду и убытки, причиненные мне, теперь же буду воевать за нашу православную веру. И мне поможет в этом деле вся русская чернь по Люблин и Краков, а я от нее не отступлюсь, и будет у меня двести, триста тысяч своих воинов~ За границу войной не пойду~ Будет с меня Украины, Подолья и Волыни по Львов, Холм и Галич. А ставши над Вислою, скажу живущим дальше ляхам: "Сидите, ляхи! Молчите, ляхи!" И богачей, и князей туда загоню, а будут за Вислой кричать, я их и там найду~ На Украине не останется ни одного князя, ни одного шляхтича, а кто хочет с нами хлеб-соль делить, пусть повинуется войску запорожскому и короля не лягает".

В речах казацкой старшины звучала непримиримая ненависть к шляхте. Сам Хмельницкий прямо говорил: "Короля почитаем, как государя, а шляхту и панов ненавидим до смерти и не будем им друзьями никогда!~" Ясное дело, что никакое соглашение не было мыслимо, и комиссары думали уже об одном: как бы им самим выбраться невредимыми из этого логовища рассвирепевшего Тамерлана. Однако при отправке Хмельницкий вручил им перемирные статьи, в которых требовал уничтожения унии на Руси, допуска киевского митрополита в сенат, запрета возобновлять разрушенные костелы, изгнания жидов, назначения на должности в пределах Руси исключительно лиц, исповедующих греческую религию, возвращения войску запорожскому по всей Украине прежних вольностей, подчинения казацкого гетмана непосредственно самому королю и так далее. "Согласились мы и на такое перемирие, – записали комиссары в своем дневнике, – лишь бы вырваться из рук тирана и предостеречь короля и Речь Посполитую да чтобы этим ненадежным перемирием задержать Хмельницкого у Днепра и вырвать у него пленников". Понятно, обе стороны не придавали никакого значения этому соглашению и деятельно готовились к возобновлению войны. Поляки ясно видели свою цель: они хотели вернуть прежние порядки, прежнее господство над русским народом. Цель русских вначале была также вполне ясна:

избавиться от панов-ляхов, низвергнуть режим экономический, религиозный и политический, поддерживаемый ими. Но теперь, когда режим этот был ниспровергнут, когда выступала на первый план положительная задача восстания, замечается большая путаница понятий даже в голове казацкого вождя. Он говорит об удельном княжестве, но нельзя сказать, что он борется действительно за осуществление этой идеи. Война вспыхивает снова и снова, потому что велик запас горючего материала с обеих сторон, велика национальная ненависть и ожесточение, – но из этих чувств не возникают, как известно, новые княжества и государства. На деле Хмельницкий заботился о “протекции”, а не об удельном княжестве и ищет ее то у московского царя, то у турецкого, то возвращается к польскому королю. Минутами роздыха он пользуется, чтобы вступить в дипломатические переговоры, а не для того, чтобы заложить новые положительные основы общества, которые сделали бы невозможным возвращение к старому порядку.

# Глава V. Згода! [3]

***Возобновление военных действий. – Осада под Збаражем. – Битва под Здоровым. – "Дети мои, не бегите от меня!" – Позорная сделка. – Зборовский договор. – Несостоятельность его. – Внутреннее устройство Украины. – Недовольство народа. – Казни нарушителей панского покоя. – Приготовления к войне. – Угрожающее положение Москвы по отношению к полякам***

Итак, новоизбранный король Ян-Казимир не прекратил одним своим "маестатом" внутренней усобицы. Стычки между панами и хлопами продолжались всю весну 1649 года, и уже в июне два войска стояли друг против друга под Збаражем. С польской стороны это было передовое войско под начальством опять-таки триумвирата, на этот раз более мужественного: Фирлея, Ляндскоронского и Осторорога; к ним скоро присоединился и Вишневецкий. Сам же король стоял во главе "посполитого рушения". Он призвал всех шляхтичей, способных носить оружие, на войну за отечество и веру; каждый должен был явиться в полном вооружении на боевом коне и привести с собою нескольких слуг, также вооруженных. Но пока собиралось шляхетское ополчение, а оно собиралось медленно и нехотя, сравнительно небольшому польскому войску, расположенному под Збаражем, приходилось выдерживать натиск соединенных полчищ казаков и татар. Хотя количественно союзники превосходили поляков в несколько раз, но качественно они далеко не могли сравняться с последними (качественно не по храбрости, а по вооружению). Мы не говорим уже о татарах, которые вовсе лишены были огнестрельного оружия; но даже и в рядах казаков была масса народу, только что побросавшего плуг и не умевшего владеть оружием, не имея его. Они были вооружены кто косами, кто цепами, кто кольями и так далее; иногда они служили просто подвижной защитой для других: на шею им надевали мешок с землею и заставляли идти впереди. Поляки испугались громадного неприятельского войска, готовы были бежать после первых же стычек, но их удержал Иеремия Вишневецкий. Они окопались и решили выдерживать осаду, пока подоспеет на выручку король с "посполитым рушением". Хмельницкий также скоро убедился, что завзятого Иеремию можно взять только голодом, и обложил польский лагерь со всех сторон, так что поляки были совершенно отрезаны от внешнего мира и скоро стали испытывать недостаток в съестных припасах. Они зарывались во все более и более узкий круг валов; но за

ними по пятам надвигались осаждающие. Наконец враги могли свободно переговариваться с валов. “Когда же вы, паны, – говорили казаки, – будете чинш на Украине собирать? Ведь вот уже год тому, как мы вам ничего не платим~” “Все это вам наделали ваши поборы: очкови, та панщина, та пересуди, та сухомелыцина!” и т.д. “Теперь вам пока льгота, – отвечали паны, – а вот скоро пойдете на панщину гатить плотину через Днепр~” и так далее. Несмотря на все отчаянное мужество поляков, поддерживаемое исключительно Вишневецким, дело дошло до того, что казаки со своих высоких валов могли, по словам очевидца, пересчитать всех поляков и перебить их, как кур. Хмельницкий зорко следил за малейшим движением осажденных. Они не могли даже уведомить короля о своем положении. Все их посланцы попадали в руки казаков. Наконец одному удалось пробраться, и он доставил королю отчаянное письмо осажденных.

Только тут король и его советники увидели, какую ошибку они сделали, медля со сборами, и решили двигаться вперед с тем ополчением, какое было налицо, рассчитывая, что по пути к ним будут присоединяться запоздавшие партии. Хмельницкий, узнав своевременно о движении польского войска и оставив пеших под Збаражем продолжать осаду, с конницею и татарами незаметно пошел навстречу королю и захватил его врасплох на переправе под Зборовым. Здесь после двухдневной битвы польские полководцы с ужасом увидели неизбежность позорного поражения, так как “посполитое рушение” каждую минуту готово было разбежаться. В ночь после первого дня сражения в обозе разнеслась молва, будто король с панами уходят тайком. Войско пришло в смятение. Король потребовал себе лошадь и при свете зажженных факелов, с открытой головой, чтобы все видели его лицо, объезжал ряды и беспрестанно кричал: “Вот я! Вот я, король ваш! Не бегите от меня, дети мои! Не оставляйте, благородные шляхтичи, своего государя! Не покидайте, воины, своего командира!~” Он обнадеживал их победою на завтра. Но, увы, вместо победы на следующий день сам король чуть было не достался в руки казакам. В решительную минуту, когда казаки рассеяли королевских телохранителей и готовы были схватить самого короля, раздался крик Хмельницкого: “Згода!” (мир, положивший конец битве). Хмельницкий хотел показать, что он воюет не против короля, а против шляхты, которую беспощадно полонил, не разбирая чина и звания. Поляки еще раньше засылали к татарам гонцов с мирными предложениями. Теперь пришел ответ. Крымский хан требовал себе дани и права воевать польские владения огнем и мечом на возвратном пути; что же

касается казаков, то он требовал, чтобы их желания были удовлетворены. В письме от Хмельницкого, поданном при этом, были изложены и сами желания. Позорная сделка! Но король согласился на нее, хотя и не осмелился в официально обнародованном договоре поместить статью, предоставлявшую татарам право грабить польские владения. С казаками был заключен особенный договор, известный под названием Зборовского. Этим договором определялось будущее устройство Украины. Он представлял, так сказать, максимум, на который согласились поляки, однако оказался, как мы сейчас увидим, далеко не соответствующим желаниям народа. По договору число запорожского войска назначалось в 440 тысяч реестровых казаков; определялся район по обеим сторонам Днепра, в границах которого казаки должны были проживать; в этих местах коронным войскам запрещалось занимать квартиры, а жиды изгонялись совсем; все должности и чины в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском решено было замещать впредь только местными дворянами, исповедующими греческую веру; казаки получали право курить вино для собственного потребления и для оптовой продажи, но “шинковать горилкою” им запрещалось; что касается дел веры, то митрополиту Киевскому обещано было место в сенате и затем, в его присутствии и согласно его желанию, должно быть постановлено решение на сейме относительно вопроса об уничтожении унии и возвращении православных церквей и вотчин, приписанных к ним; иезуитам запрещалось проживать в Киеве и в других городах, где находились привилегированные русские школы; наконец, Богдан Хмельницкий сохранял за собою гетманский сан, и ему на булаву отдавалось чигиринское староство; всем шляхтичам, принимавшим участие в восстании, объявлялась амнистия, и вообще все происшедшее предавалось забвению, и никакой пан не должен был мстить и казнить за прошлое.

Таким образом, основной вопрос – глубочайшее противоречие между интересами двух общественных классов тогдашней Руси польского панства и русского хлопства – этим договором не был разрешен, не был даже сколько-нибудь серьезно затронут. Из-под панской власти высвобождалось только 40 тысяч человек! Вместе с женами, детьми, слугами и т.д. они могли составить самое большее 300 тысяч. Что же значили эти 300 тысяч перед всей той массой народа, которая принимала участие в междоусобной войне? Сотни тысяч, миллионы должны были возвратиться под власть панов и снова отбывать панщину! Но если эта панщина была тяжела и подчас невыносима до восстания, то как народ мог снести ее теперь, после двух лет

необузданного своеволия и дикой свободы? Тем более, что паны, так много потерявшие, вовсе не намерены были предавать забвению прошлое. За что же, оказывается, боролись эти сотни тысяч, эти победители, силой бумажного договора превращенные в побежденных? За булаву Богдану Хмельницкому? За 40 тысяч реестровых казаков? За воеводства русичам Киселям и ему подобным? Нет, народ боролся за то, чтобы на Украине не было “ляха-пана”, не было “жида” и не было “унии”. Но Зборовский договор не разрешал радикально и окончательно ни одного из этих вопросов. Ясное дело, – народ отвергнет бумажный договор и будет продолжать борьбу. Не может быть, чтобы Хмельницкий, прекрасно умевший пользоваться настроением народа и, следовательно, знавший его, не понимал всей непрочности подобного мирного соглашения и неизбежности дальнейшей междоусобицы. Надо думать, что он согласился на такую мирную сделку просто потому, что в тот момент не было другого выхода: поляки не шли на большее, а татары, помирившись с поляками, принуждали и его к миру, в противном же случае готовы были обратить свое оружие против казаков. Как бы там ни было, Хмельницкий присягнул королю и, сняв осаду Збаража, отправился на Украину устраивать внутренние дела на основании нового соглашения. Верил ли он или не верил в это соглашение, но решил попробовать осуществить его. В городах оставалось прежнее устройство. Более значительные из них пользовались самоуправлением на основании магдебургского права; другие же находились в зависимости от панов; с ограничением прав последних и эти зависимые города получали возможность устроиться на началах самоуправления. Главное внимание гетмана было обращено на устройство военного класса, казаков. Еще раньше Хмельницкий разделил их на полки, сотни, курени; причем под этими названиями понималось не известное число воинов, а известная территория с находящимися на ней городами, местечками, селами и хуторами. Центральное управление составляла генеральная войсковая канцелярия, состоявшая из гетмана, обозного (начальника артиллерии и лагерной постройки), есаула (обер-лейтенанта), писаря (государственного секретаря) и хорунжего (главного знаменосца). Затем в каждом полку была своя канцелярия, в состав которой входило полковое начальство: полковник, обозный, есаул, писарь, судья, хорунжий; в сотне – сотенная канцелярия, состоявшая из сотника, писаря и хорунжего; куренями начальствовали атаманы. Все это начальство составляло казацкую старшину, избираемую вольными голосами и утверждаемую гетманом. Территорию, отошедшую по Зборовскому договору под власть гетмана,

Хмельницкий разделил на 15 полков и приступил к реестрации казаков, то есть к составлению казачьих списков. Все не попавшие в списки должны были возвратиться под панское начальство. Это-то и была ахиллесова пята Зборовского договора. Не попадавшие в списки подымали ропот. Чтобы хоть сколько-нибудь ослабить его, Хмельницкий приказал набирать казаков преимущественно из имений богатейших панов – Вишневецкого, Конецпольского и других. Он отбирал у них целые имения, города, села на том основании, что все это составляло раньше государственную собственность, и раздавал казацкой старшине с правом временного пользования. Таким образом, на Украине образовался особый класс владельцев, пользовавшихся имениями во время службы; впоследствии с воссоединением Малороссии этот порядок был превращен в крепостную зависимость крестьян.

Несмотря на всю осторожность, с какой действовал Хмельницкий, народ сильно волновался при составлении реестров. Гетман просил панов помедлить несколько со своим возвращением на Украину. Кисель, назначенный киевским воеводою, настаивал: “Наступает зима, – говорил он, – каждый хотел бы обогреться на своем пепелище, каждому дом свой мил: после двухлетней драки каждый научился держать себя скромно и привлекать к себе подданных~” Но Хмельницкий ждал утверждения Зборовского договора сеймом и, только получив извещение о том от короля, разрешил панам возвращаться в свои имения. Нужно заметить, однако, что Зборовский договор был нарушен на сейме в одном из существеннейших пунктов: митрополита Киевского не допустили к заседанию в сенате. Кроме того, весь договор вообще вызвал крайнее неудовольствие в Варшаве, и паны говорили тайно и явно, что он будет нарушен при первом удобном случае. Хмельницкий, имевший хороших шпионов в Варшаве, знал обо всем этом, но до поры до времени молчал и исполнял обязанности, принятые на себя. Он казнил в Киеве до двадцати казаков за убийство шляхтича. Затем издал универсал, в котором приказывал всем, не записанным в казачьи реестры, повиноваться своим владельцам под страхом смертной казни. В королевском универсале ко всем жителям Украины, опубликованном в это время, также говорилось, что в случае бунтов хлопов против владельцев коронное войско *вместе с запорожским* будет преследовать бунтовщиков как чужеземного врага. Вместо свободы, следовательно, народ получал сорокатысячное воинство, которое должно было действовать против него же, народа, при малейшей его попытке сбросить с себя шляхетское иго. Одним словом, поляки хотели, как и в былое время, разъединить русский народ и, сделав уступки

горсти, держать всю массу при помощи этой же горсти в рабстве. Понятно, с каким негодованием встретил народ универсалы, гетманский и королевский, и возвращавшихся панов. Хлопы бранили гетмана и отказывались работать на панов. Тогда некоторые из панов, побогаче и поотважнее, стали силою приводить к покорности своих подданных, хватали зачинщиков и казнили их. Хлопы, в свою очередь, брались за оружие. То там, то здесь происходили вооруженные столкновения. Хмельницкий, строго придерживаясь договора, беспощадно преследовал нарушителей панского покоя, вешал их, сажал на кол. Но строгость эта приводила только к тому, что имя гетмана теряло в народе свое обаяние. Из протестующих особенно выделялся Нечай, брацлавский полковник, прославленный в народных думах, как образец казацкой завзятости и непримиримости. Кисель даже требовал его казни, но Хмельницкий видел, что разыгрывается новая буря, и не осмелился поднять руку на человека, занимавшего видное положение и пользовавшегося громадной популярностью. Он объявил, что в реестр принимать больше нельзя, а кто хочет, пусть составляет “охочее” войско, то есть опять те же самовольные купы и загоны, какие гуляли раньше по всей Украине и Литве, и отправил этих волонтеров под начальством Нечая на западную границу. На упреки Киселя, что он начинает опять потворствовать бунтовщикам, он отвечал, что поляки поддели его, что по их просьбе он согласился на такой договор, который исполнить никоим образом невозможно. “Сами посудите, – говорил он, – сорок тысяч казаков, что я буду делать с остальным народом? Они убьют меня, а на поляков все-таки поднимутся”.

Для окончательного утверждения реестров Хмельницкий собрал генеральную раду в Переяславле. Это было, по словам современника, “настоящее национальное собрание государства вольного и независимого”. С принятием реестров решалась окончательно (пока, конечно, на бумаге) судьба всех не вписанных, и Хмельницкий хотел сложить с себя, так сказать, ответственность за их участь. Рада была чрезвычайно бурной, а в Киеве, куда тотчас уехал Хмельницкий и где собралось много недовольных, вспыхнул настоящий мятеж. Своею решительностью в критическую минуту гетман укротил народ, но должен был пообещать, что он отправит новое посольство к королю и до получения ответа не пустит панов в их владения. Таким образом, одной рукой он продолжал казнить непокорных хлопов, а другой вынужден был снова поднимать их против панов.

Итак, Зборовский договор, представлявший, по мнению одних, слишком большую уступку, а по мнению других – нечто

совершенно не соответствующее желаниям, в действительности же, что называется, середина наполовину, не мог удовлетворить противников, и они снова становились в боевую позицию друг против друга. Поляки старались перетянуть на свою сторону татар, обнадеживая их войной с Москвою, где они могли хорошо поживиться. К тому же Москва была их непримиримым врагом. Кто, как не Москва, овладела Казанским и Астраханским царствами? Крымский хан не прочь был бы возвратить эти царства под власть правоверных мусульман. Отношения же между Польшею и Москвою становились все более и более натянутыми.

“Великий государь, – говорили московские послы панам, – изволит гневаться на вас, поляков, за нарушение крестного целования. При вечных и доконченных грамотах мирных постановлено было, чтобы титул царского величества писался с большим страхом и без малейшего пропуска, а вы этого не соблюдаете”~ “Его царское величество, – продолжали они, – требует, чтобы все бесчестные книги (книги, в которых встречались оскорбительные для московского царя выражения) были собраны и сожжены в присутствии послов, чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатники, а также и владельцы маетностей, где находились типографии, были казнены смертью”.

Напрасно паны убеждали послов, говоря: “~Разбирательство бесчестных книг и преследование их сочинителей не только не произведет уменьшения, но прибавит оскорбления его царскому величеству~” Послы настаивали на своем и наконец прямо заявили требование о возвращении Смоленска со всеми принадлежащими к нему городами. Еле-еле панам удалось предотвратить на этот раз разрыв, но они ясно уже видели его неизбежность.

Татары побаивались возраставшей силы казаков, которые при благоприятных обстоятельствах могли обратиться против них; это также ослабляло их дружбу и преклоняло их “слуг” к предложениям поляков.

Хмельницкий, со своей стороны, сносился с различными государями и искал союза более прочного, чем с татарами. Москва по-прежнему вела себя уклончиво; она продолжала поддерживать сношения с Хмельницким и зорко следила за ходом борьбы между Польшей и Украиной, но ограничивалась одними только похваливаниями. Это раздражало гетмана, которому приходилось разрешать мучительный вопрос: “быть или не быть”, и он под пьяную руку кричал: “Вы мне все про дубье да про пасеки толкуете (по поводу пограничных столкновений), а я пойду изломаю Москву и все Московское государство, да и тот,

кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится~” С Москвы он переносил свои надежды на Турцию, тем более что, заручившись ее поддержкой, он мог быть спокоен и насчет татар, турецких вассалов. Султан готов был принять его с распростертыми объятиями под свою “протекцию”, строго приказывал крымскому хану “не обращать очей и ушей своих к Польше”, а напротив, защищать казаков “своими быстролетными войсками” и обещал прислать на помощь турецкое войско. В то же время Хмельницкий сносился и с прикарпатскими вассалами блистательной Порты. С Ракочием, седмиградским князем, он уговорился напасть одновременно с разных концов на Польшу, а с молдавским господарем Лупулом вел переговоры о женитьбе своего сына на его дочери, окончившиеся, как мы уже говорили, походом в Молдавию. Этим походом он искусно отвлек внимание татар от Москвы и примирил их с собою, доставив им возможность удовлетворить свои грабительские инстинкты. Но по отношению к Польше, у которой искал, между прочим, поддержки Лупул, это был лишний повод для раздражения. Наконец гетман послал доверенных лиц для переговоров даже в далекую Швецию.

Мы уже говорили, что Хмельницкий, убедившись в невозможности выполнения Зборовского договора, отправил послов к королю. Ко времени их приезда в Варшаву там уже открыто говорили о предстоящей войне с казаками. Требования Хмельницкого панами были выслушаны с негодованием и отвергнуты. Хмельницкий требовал совершенного уничтожения унии как в короне, так и в княжестве Литовском, и возвращения православным всех униатских епархий, кафедр, церквей, земель и так далее; просил защиты от панов, “иначе, – говорил он, – мы, спасая свои головы, должны будем в предупреждение зла искать себе приятелей”; в залог же ненарушимости мира он требовал, чтобы, во-первых, некоторые высшие духовные и светские сановники утвердили присягою мир между Речью Посполитой и войском запорожским и, во-вторых, четыре знаменитейших украинских пана проживали в своих поместьях, без войска и хоругвей, без большой дворни и ассистенции, как заложники. Эти требования напомнили панам басню, в которой волки заключают мировую с пастухами на том условии, чтобы последние удалили собак. Война была решена на сейме единогласно. Когда Хмельницкий узнал об этом, то, не дожидаясь королевских комиссаров, которым для затяжки времени поручено было войти в переговоры с ним, собрал раду и вслед за тем издал универсал, извещавший русских о новой войне, запрещавший панам проживать в Украине и призывавший весь народ к ополчению.

# Глава VI. Снова Война

***Успехи поляков. – Война под знаменами двух религий. – Битва под Берестечком. – Исчезновение Хмельницкого. – Поражение казаков в Литве. – Усмирение бунтов в Червонной Руси и Польше. – Торжество поляков. – Появление Хмельницкого. – Стоглавая гидра мятежа оживает. – Переговоры с поляками. – Волнение в казацком войске. – Нерешительное сражение. – Белоцерковский договор. – Нет пощады непокорным! – Призыв Хмельницкого к войне. – Битва под Батогом. – Шутки долой! – Неистовства Чарнецкого. – Осада под Жванцем. – Разрыв "вечного докончания" Москвы с Польшею***

Военные действия начались в Подолье. Тут полякам сначала повезло. Под предводительством Калиновского они напали нечаянно на казаков, пировавших в Красном, и не только разгромили их, но и убили брацлавского полковника Нечая, этого истинно казацкого героя. Затем, опустошив несколько селений между Днепром и Бугом, они осадили Винницу, которую защищал другой народный любимец, винницкий полковник Богун. На помощь к нему подоспел отряд, посланный Хмельницким, и польское войско вынуждено было отступить к Каменцу. Узнав об этих стычках, король издал последний, третий приказ, призывавший ополченцев, и сам с наемным войском двинулся из Люблина. Теперь сам святой отец, папа, благословлял поляков на брань и прислал королю освященный меч. Увлеченные религиозным рвением поляки с воодушевлением выступили в поход. Такое же настроение сказывалось и среди казаков. Главное требование, предъявленное Хмельницким и так возмутившее панов, было, как мы знаем, уничтожение унии. Таким образом, казаки выступали теперь более чем когда-либо защитниками попранной веры. Правда, митрополит Киевский Коссов не сочувствовал им и не благословлял их на бой с поляками. Но вместо него действует чужеземный пришелец, митрополит Коринфский. Он перепоясал казацкого гетмана мечом, освященным на гробе Господнем, и сам с духовенством отправился в поход. Константинопольский патриарх также одобрял Хмельницкого за решение воевать против угнетателей православия и поборников сатаны. Словом, война велась теперь действительно под знаменами двух враждовавших вероисповеданий: католического и православного.

Неприятельские войска сошлись под Берестечком. Польша и Украина, на стороне которой выступал крымский хан, стояли во

всеоружье своих народных сил. Здесь должна была произойти вторая битва, подобная Зборовской, решавшая судьбы двух народов. На этот раз поляки заняли удобную позицию, обширную гладкую равнину, где могла развернуть свои силы конница, а казаков оттеснили к болотам и топям реки Стырь. В польском лагере был собран весь цвет польской военной силы; тут были: Вишневецкий, Ланцкоронский, Чарнецкий, Конецпольский, Калиновский и другие, было много наемных немцев, ветеранов тридцатилетней войны. У казаков также были свои завзятые "характерники": Богун, Джеджалий и другие; вся масса, не исключая и хлопов, шла отважно на бой, зная, что в случае неудачи ей не будет пощады со стороны панов. Но союзники-татары относились к делу гораздо прохладнее и после первых же стычек готовы были помириться с поляками. На другой день битвы войска с раннего утра выстроились друг против друга в боевом порядке.

"Был вид величественный, – говорят современники, – на пространстве, сколько можно было окинуть взором, разостлались несметные ряды трех враждебных народов~ Польское войско, собранное в таком громадном размере, в каком редко собиралось, блистало чрезвычайною нарядностью и пестротою~ Противоположность им представляла простота казацко-татарского полчища, где масса хлопов в бедных сермягах шла в поход с дубинами вместо оружия, а татары, кроме мурз и беев, одеты были в холстинные чекмени и в бараньи шапки~"

Но вот уже рассеялся утренний туман, однако ни та, ни другая сторона не начинала битвы. Рассказывают, что хан, осмотрев в зрительную трубу польское войско, сказал казацким полковникам:

"Ну что? Проспался уже ваш хмель (накануне он, по тем же рассказам, застал Хмельницкого пьяным)? Он обманывал меня нелепыми баснями, будто польское войско слабо и неопытно. Ступайте к нему, пускай идет сперва сам выбирать мед у этих пчел да пускай прогонит прочь такое множество жал".

Наконец после полудня король дал знак к наступлению. Впереди полетел со своим отрядом ненавистник казаков Иеремия Вишневецкий с обнаженной саблею, без панциря и шапки. Казаки не выдержали стремительного натиска и поддались. Бой кипел с переменным счастьем по всей линии. Главную надежду свою Хмельницкий возлагал на засаду, которую устроил для поляков в прилегающем лесу. Однако засада эта была обнаружена поляками вовремя. Успех склонялся на сторону поляков, но до победы было еще далеко. Как вдруг хан со всею своею ордою обратился в бегство. Хмельницкий, передав начальство Джеджалию, кинулся

за ним, чтобы остановить его и возвратить назад. Казацкий табор сомкнулся и в полном порядке отступил к речке Пляшовой. Поляки не решились напасть на него. Казаки тотчас же окопались. Началась осада. Татары не только не возвратились, но и гетмана увели с собой. Казацкий табор представлял не горсть лучших воинов, как у поляков под Збаражем, а стотысячную толпу, в которой громадную массу составляли непривыкшие к упорному сопротивлению и недисциплинированные хлопы. Выдерживать долго осаду с такими воинами было немыслимо. Хотя русские успешно отражали приступы и делали удачные вылазки, однако скоро возникли внутренние неурядицы. Переговоры с поляками не приводили ни к чему: казаки не соглашались выдать старшину, на чем настаивали паны. Скоро Джеджалия сменил Богун. Он задумал вывести табор из болот и тогда начать правильное отступление в глубь страны. Но чернь, не посвященная в планы предводителя и думая, что старшина заботится только о себе, превратила отступление в поспешное и беспорядочное бегство. Узнав, что старшина с казаками уже переправляется, все разом бросились к плотинам, устроенным Богуном через болото, разгрузили их и стали вязнуть и тонуть в болоте. Поляки некоторое время смотрели с недоумением, не догадываясь, в чем дело, затем бросились в оставленный казацкий табор и беспощадно избивали беглецов. “Весь день, пока не стемнело, наши, – говорит поляк, – подвигаясь облавою, производили кровавую бойню, вытаскивая казаков из кустов и болот, расстреливая и рубя головы~ Едва ли нашелся бы кто-либо, кому не довелось убить казака”. Но нашлись храбрецы, которые и здесь поддержали казацкую славу. Сам король прибегал смотреть, как 300 казаков, засевших на небольшом островке, отбивались от поляков, несмотря на обещание даровать им жизнь, пока не погибли все до одного.

Поляки торжествовали не только под Берестечком. Одновременно начались военные действия и в Литве. Туда Хмельницкий отправил отряд казаков в 20 тысяч под начальством Небабы; к нему пристала, как и везде, масса хлопов. Но Радзивилл, литовский гетман, разогнал загоны, разбил самого Небабу и, усмирив край, направился к Киеву. Так же неудачно для Хмельницкого кончилось и возмущение, поднятое им в Червонной Руси. Даже в самой Польше крестьяне начинали волноваться. Здесь борьба должна была бы принять уже чисто социальный характер. В своих универсалах Хмельницкий обещал всему польскому крестьянству свободу от всяких повинностей и работы в пользу панов. Итак, паны торжествовали на всем пространстве от Карпат и Вислы до Днепра. Из-под Берестечка

главные силы польского войска направились в глубь Украины. Торжествующие поляки жестоко карали мятежников. Если хлопов и спасло что от смерти, так это чисто материальные соображения панов: сожаление о гибели своего же добра, о гибели принадлежавшей им рабочей силы.

После берестечского поражения восстание лишилось на некоторое время своего центра, своей организации, но вовсе не улеглось. Народ по-прежнему не хотел признавать власти панов, разбегался и укрывался по лесам, переселялся в Московское государство или оказывал панам отчаянное сопротивление. Волынский край был так опустошен, что польское войско не встречало на своем пути ни городов, ни селений, всюду "только поле и пепел; не было видно ни людей, ни животных, только птицы кружились в воздухе". Вступивший в Украину Потоцкий получил такого рода послание от четырех казацких полковников:

"Поляки! заключим искренний и братский мир; вы можете победить нас выгодными условиями, но завоевать – никогда: знайте это! И если вы нас теперь одолеете, то казаки будут непреклоннее в своем мщении, чем в борьбе за свободу".

Но полякам не страшны были разрозненные действия хотя бы и непримиримого врага. Пока один только Хмельницкий мог объединить стремления миллионной народной массы и подчинить их одному общему руководству. А что сталось с ним, никто не знал. В народе проявлялось даже явное недовольство и ожесточение против него как главного виновника побратимства с татарами, которые не упускали случая пограбить и уводили много простого народа в плен. Недовольство это переносилось и на всех казаков вообще. Так что в среде самого народа русского стала обнаруживаться пагубная рознь.

Скоро, однако, Хмельницкий снова показался на горизонте. Рассказывают, что хан потребовал от него выкупа и затем, когда Выговский доставил требуемую сумму, выпустил его и снова изъявил согласие помогать казакам против поляков. Только вырвавшись на свободу, Хмельницкий узнал о страшном поражении под Берестечком, о расстройстве казацкого войска и вдобавок о недовольстве в народе лично против него. Все это сначала его видимо смутило, и он говорил: "Не хочу больше воевать с панами, уйду на Запорожье"; но прежняя бодрость и присутствие духа не замедлили к нему возвратиться. "Он, – говорит современник, – не изменялся пред подчиненными ни в лице, ни в духе; с веселым лицом, со смелою речью показывал вид, что счастье его не потеряно". Из Корсуня он разослал универсалы, приказывал казакам снова собираться в поход, а народ призывал на защиту отечества. К Потоцкому же,

спешившему на соединение с Радзивиллом, он отправил депутацию и написал письмо, в котором оправдывался необходимостью самозащиты (“И пташка, – писал он, – охраняет свое гнездо”) и просил коронного гетмана прекратить кровопролитие и походатайствовать перед королем, чтобы он возвратил казакам их вольности и оказал милосердие над своими подданными. “Извольте уведомить нас, – заканчивалось письмо, – чего от нас требует король, а с войском на нас не наступайте~ И мы не подвигаемся с нашим войском и будем ждать милостивого решения вашего; надеемся получить его в понедельник”. По тону письма нельзя было бы даже догадаться, что это пишет предводитель войска, недавно разгромленного наголову. О берестечском поражении он просто упоминает: “Мы уступили своему государю и пошли домой, желая мира”. Очевидно, Хмельницкий чувствовал себя снова достаточно сильным, чтобы *трактовать* с поляками как равный с равным. Геройский отпор, встреченный поляками в ничтожном селении Трилисах, и сожжение самими мещанами Киева, а затем и положительные успехи казацкого оружия: занятие Винницы, Паволичи, Хвастова и так далее, – показывали полякам, что стоглавая гидра мятежа снова ожила. Между тем, положение победителей ухудшалось: несогласия между вождями доходили до того, что они ругались последними словами и хватались за сабли, войско страдало от голода и болезней, литовцам хотелось поскорее возвратиться домой, подкрепления ожидать было неоткуда и так далее. Под давлением всех этих обстоятельств поляки действовали нерешительно и готовы были покончить распрю миром. Поэтому на вторичное предложение Хмельницкого относительно мира они отвечали согласием и послали комиссаров в казацкий табор для переговоров.

Конечно, теперь поляки как победители предписывали свои условия. Они требовали от казаков безусловного разрыва дружбы с Ордою, уменьшали реестровое войско до 12 тысяч, ограничивали их местопребывание только Киевским воеводством, лишали Хмельницкого гетманского звания и так далее. Эти требования вызвали большое волнение в казацком таборе, где чернь не хотела иначе мириться, как на условиях Зборовского договора. Поляки соглашались сделать некоторые уступки: увеличивали несколько численность казацкого войска, оставляли Хмельницкого гетманом, но о Зборовском договоре не хотели и слышать. Окончательные переговоры велись в Белой Церкви, занятой казаками, так как чернь не отпустила казацкой старшины в польский лагерь. Когда же Хмельницкий с полковниками вышел к толпе, чтобы прочесть проектированные статьи договора, и

хлопы увидали, что они снова должны будут служить панам, поднялся шум и крики:

“Так-то ты, пан гетман, с ляхами трактуешь, а нас оставляешь и от орды отступаешься! Сам себя да старшину спасаешь, а нас и знать не хочешь~ Отдаешь нас, бедных, на муки под киями, батогами, на колах да на виселицах. Но прежде чем дело дойдет до того, ты сам положишь свою голову, и ни один лях не уйдет отсюда живым!!”

Раздались выстрелы; от хлопов полетели камни, от татар – стрелы; одна стрела чуть было не попала в голову Киселю, снова разыгрывавшему роль миротворца. Хмельницкий, схватив булаву в обе руки, бросился в толпу и стал разгонять ее ударами направо и налево. Наконец при помощи полковников и казаков удалось восстановить порядок; но на следующий день волнение еще более усилилось, и белоцерковский полковник пригрозил толпе пушками. С большими затруднениями проводил Хмельницкий комиссаров через табор, защищая от яростного нападения хлопов. Но лишь только они очутились в открытом поле, толпа хлопов и татар нагнала их и ограбила дочиста. Поляки простили и эту выходку разъяренного народа. Вдруг к панам, выехавшим, чтобы принять присягу от казаков, являются новые посланцы и говорят: “Милостивые паны и комиссары! Войско запорожское послало нас к вашим милостям просить, чтобы вы утвердили зборовские статьи, чтобы войско коронное вышло из Украины и не занимало в нашей земле квартир и чтоб нам не мешали сноситься с татарами, которые сохраняют нашу свободу”. Паны приходят в неистовство и кричат: “Что же это? Мы будем игрушками в руках презренного хлопства!~” “Опомнитесь, ведь мы уже обо всем уговорились~”, – “Мы не знаем и не ведаем, – отвечали казаки, – о чем вы уговорились. Мы разошлись с паном гетманом. Подпишите Зборовский договор, и мы присягнем в верности”. Конечно, это посольство состоялось не без ведома Хмельницкого, который находился, что называется, между двух огней. Условия нового договора были действительно тяжелы и даже невозможны ввиду настроения народа, но чрезвычайно рискованной представлялась также и война с поляками в настоящую минуту. Рискованной для кого? Для тех счастливцев, которые могли рассчитывать попасть в реестр, но не для массы вообще. Массе было нечего проигрывать. С восстановлением панства на прежних основаниях она теряла все, чем пользовалась в кровавые годы междоусобицы, и возвращалась к ненавистному рабскому состоянию. Для нее царившая в последние годы анархия была лучше панского порядка. Никакие силы неба или ада не могли бы убедить ее в противном. Тем более не мог сделать этого

Хмельницкий. Он не был тем героем, которому беспрекословно повинуются стихийные силы. Он стушевывается; по крайней мере, мы не видим его на челе событий.

И вот переговоры прерваны, заложники возвращены. Снова войска выстраиваются в боевом порядке, снова начинается сражение. Но противники действуют нерешительно. После первой стычки казаки отступают с поля битвы. На следующий день они с гиком и криком кидаются на польский лагерь. С обеих сторон – значительные потери. Проходит еще день, казаки еще теснее обступают польский лагерь. “Если под Берестечком, – говорит панам Кисель, – в чужой земле, окруженные войском втрое многочисленнейшим, оставленные своим вождем и татарами, находясь в дурном местоположении, казаки не только не сдались, но в виду наших ушли и разрушили наши предположения, то легко ли покорить этот народ в его собственной земле?” Старый Потоцкий также хочет мира и остается глух к советам уничтожить казачество до основания. Хочет мира и старый Хмельницкий, так как не надеется одолеть поляков. Бушевавшая чернь тоже присмирела: она убедилась, что взять панов не так-то легко и что только несогласия полководцев мешают им, панам, разбить казаков наголову. Тогда Хмельницкий снова возобновляет переговоры и выторговывает увеличение числа реестровых казаков до 20 тысяч; на другие уступки поляки не идут.

Белоцерковский трактат еще менее выражал действительные желания польского панства и русского хлопства, чем Зборовский договор. Паны как победители желали теперь полного уничтожения казачества; а русский народ, хотя и побежденный, по-прежнему хотел полного освобождения от польского панства. Число реестровых казаков сокращалось теперь с 40 до 20 тысяч; им разрешалось проживать только в Киевском воеводстве, а по Зборовскому договору можно было, кроме того, в Брацлавском и Черниговском; коронному войску запрещалось квартировать только в Киевском воеводстве, а по Зборовскому договору, кроме того, в Брацлавском и Черниговском; уния не уничтожалась, о ней не говорится ни слова в новом трактате; жидам дозволялось свободно проживать в шляхетских и королевских имениях; гетман обязывался не вступать ни в какие сношения с Ордою и вообще с иностранными государствами. Таковы проигрыши казаков по сравнению с тем, что они получали по Зборовскому договору. Что же выигрывали паны? Ровно ничего, кроме разве еще более ясного сознания, что никакими компромиссами, ни большими, ни малыми, невозможно было снова связать интересы двух боровшихся общественных классов на Украине. “Паны увидели, – говорит летописец, – что надо готовиться к войне”. Хлопы не

хотели признавать Белоцерковского трактата, не хотели пускать панов в их владения и не хотели подчиняться им, отбывать панщину, давать “стаций” и так далее. Калиновский, принявший начальство над польским войском после смерти Потоцкого, вешал их, четвертовал, жег, словом, казнил самым беспощадным образом. Батько Хмельницкий тоже, по-видимому, решил действовать в одном с ним духе. Не попавшим в реестр он приказывал служить панам. “Уже теперь, – писал он в универсале, – не годится делать того, что делалось прежде: никому не будет пощады, кто не хочет покориться”. Он как бы разрывал со всем своим славным прошлым: теперь уже не годится делать того, что делалось прежде! Хмельницкий стал карать народ за его нежелание служить панам-ляхам. По его инициативе была назначена особая комиссия, занявшаяся разбором дел о зачинщиках смут. Гетман воспользовался этим случаем, чтобы погубить и своих личных врагов. А таких у него было немало, так как он становился все менее и менее популярен, и появлялись личности, претендовавшие на его место. Таким образом погиб корсунский полковник Мозыра, миргородский полковник Гладкый, Хмелецкий и другие.

Оба гетмана ревностно заботились о приведении народа к покорности. Но что сулила ему эта покорность? Вот картина крестьянского житья того времени, нарисованная одним из поляков.

“Мы обвиняем врагов своих, а на себя не оглянемся. Что такое наша Польша? *Ад подданных,* осужденных на вечную работу владельцам; дворяне вместо награды за труды платят им бесчестным обращением, берут податки с участков земли, с сохи, с дыма, с каждой головы и, наконец, выдумывают такие поборы, какие только могут прийти на ум. Этого мало. Что остается бедному человеку с женою и детьми после панских поборов для пропитания, то заберет у них жолнер, найдет хоругвей десять в одно село, всех надобно кормить, поить, каждому дать, а кто не захочет или, лучше сказать, не может, у того повернут все кверху дном; придут еще слуги, возницы и до того оберут несчастного поселянина, что у него ни крохи не останется! От этого хлопы разбегаются, бунтуют, города и местечки пустуют, поля остаются незасеянными, прекращаются ремесла, останавливается торговля, и в казне вечные недоимки. Жолнер, который приходит защищать жителей от неприятелей, поступает с ними хуже, чем неприятель”.

Теперь жолнеры были оставлены для защиты панов, и они, понятно, смотрели на хлопов как на прямых врагов. Вдобавок ко всем этим бедствиям на Украине был голод и свирепствовало

моровое поветрие. Народ стал массами переселяться в пределы Московского государства и образовал здесь Слободскую Украину, не подлежавшую власти гетмана. Оставшимся же не было другого исхода, как составлять самовольные шайки и снова вести партизанскую войну с панами. Конечно, в действительности Хмельницкий хотел только казаться грозным для народа. Таким путем он надеялся, с одной стороны, усыпить бдительность панов, а с другой, – извести своих личных врагов. Под рукой же он позволил записаться в реестр не двадцати, а сорока тысячам, вошел в переговоры с турецким султаном и московским царем и готовился к войне. Повод к разрыву давали сами поляки. Они не утвердили Белоцерковского трактата, так как сейм был сорван. В сентябре был заключен этот трактат, а в марте Хмельницкий уже выпустил универсал следующего рода:

“Принимая во внимание, что ляхи по-прежнему причиняют нам обиды и уже немало войсковых молодцов замучили и погубили и притом заставляют работать на себя не только в будни, но и в праздники, и трудно теперь нам забыть, что мы недавно были вольными, и привыкать работать на тех панов, над которыми мы сами были панами, мы находим, что пришла удобная пора вырваться нам из неволи, потому что ляхи сами не знают, что делают, и через свою безмерную наглость хотят сами себя сгубить, а нам живот даровать. Оповещаем, чтобы все, даже каждый посполитым человек, были готовы к войне и приготовили жизненные припасы~ Но никто не смеет двинуться без моего приказания, чтобы не подать ляхам повода к нарушению мира с нашей стороны, чего они только и желают”.

Одним таким универсалом Хмельницкий возвращал себе сердца народные. Народ убеждался, что “батько” никогда ему не изменял, но, недоумевая по поводу его политики, говорил, как поется в думе: “Тилькы Бог Святый знае, що Хмельницкий думае, гадае!” Мысли его на этот раз носились действительно довольно далеко, убедившись на берестечском погроме, как непрочна его дружба с татарами, он продолжает усиленно искать иных союзников, более надежных. Он неустанно стучится в московскую дверь, но безуспешно; податливее оказывалась турецкая дверь, но турки – неверные, и с ними не может быть, как и с татарами, прочного союза; оставались еще соседние турецкие вассальные княжества. На одно из них, Молдавию, Хмельницкий преимущественно и обратил свое внимание. У молдаванского господаря была красавица дочь, а у него – “неотеса” сын. Он решил обвенчать их, не спрашивая согласия ни самой красавицы, ни отца ее. Впрочем, отец ее, Лупул, вынужденный обстоятельствами, дал было свое согласие, но теперь не хотел

исполнить его. Хмельницкий отправил Тимофея силой добывать себе невесту. Лупул искал помощи у поляков. Панов возмутила наглость Хмельницкого, тем более, что некоторые из них сами добивались руки красавицы, а сестра ее была замужем за магнатом Радзивиллом. Калиновский, к которому собралось много знатных шляхтичей, загородил дорогу Тимофею, расположившись лагерем с двадцатитысячным войском на берегу Буга, близ горы Батог. Столкновение должно было произойти неизбежно. Обе стороны даже прямо на это рассчитывали. Для Хмельницкого представлялся удобный случай уничтожить все польское войско, оставленное на Украине для охраны мира, и вместе с тем взвалить всю ответственность на поляков: зачем Калиновский помешал Тимофею идти своим путем. Для Калиновского же представлялся случай нанести жестокий удар Хмельницкому: схватить его сына. Действительно, под Батогом произошла битва. Поляки потерпели страшное поражение: почти все войско их с военачальниками и знатными панами было вырезано и перебито. Батько Хмельницкий назвал эту резню в письме к королю *“шалостью,* свойственной веселым людям”! Ужасная, страшная шалость, уступавшая разве только шалостям панов, которые они устраивали, пользуясь Белоцерковским трактатом, над своими подданными хлопами! Шалость за шалость! Паны, как и подобает культурным людям, устраивали свои “шалости” на основании Белоцерковского трактата, а казаки как истые сыны диких степей не верили “бумаге” и “шалили” больше саблями да копьями.

Ошалелые паны съехались на сейм и в сотый раз принялись рассуждать о том, что их отечество в опасности, и в сотый раз *позволяли себе* обманываться оправданиями и извинениями Хмельницкого, или, вернее, не понимать этих оправданий. Они принимали их и, однако, не хотели знать тех *действительных,* высказанных или невысказанных, оснований, на которые опиралось, в сущности, оправдание. Решили снова послать комиссаров к Хмельницкому и набрать новое войско. Комиссары, как и пославшие их, обращали больше внимания на сладкие слова, чем на горькие дела. “Ты прислал к королю, – говорят они гетману, – просить прощения своих преступлений и милосердия~” Гетман вспылил: “Вот олухи!” – вероятно, подумал он. “Милосердия! Прощения! – кричал он в раздражении. – Да за что?~ За что?~ Так за этим вы приехали? Что вы в самом деле *представляетесь* простаками? Что вы строите со мною шутки? Долой шутки!~ Король готовится идти на меня войною, как ему угодно! Желаю, чтобы он был предводителем: я готов его встретить там и тогда, где и когда он захочет”~ “Мне предлагают

почести, но тот, кого возвысила судьба, не нуждается в них". Вот когда из этой "пьяной" "коварной" души вырываются слова, которые таились в ней, словно жемчуг в куче иезуитско-шляхетского навоза. Что ваши человеческие почести для того, кому судьба указала совершить великое дело: "выбить русский народ из лядской неволи". Но как редко злополучный гетман находился на высоте понимания своего дела! Теперь же он прямо, без всяких обиняков, как подобает отважному человеку, говорит полякам: если король ваш, мною же посаженный, слеп, если он хочет идти против меня, то есть идти против судьбы, возвысившей меня (против "силы обстоятельств", сказали бы теперешние обстоятельные люди), то, повинуясь той же судьбе, я готов встретить его. Никогда раньше Хмельницкий не выступал так открыто против самого короля, как в этот раз. Напротив, он всегда говорил, что борется против панов, а не против короля. Очевидно, развязка кровавой трагедии была уже близка.

Как бы в ответ на такие речи поляки снарядили Чарнецкого, который с двенадцатитысячным войском ворвался, точно фурия, в Украину. Он истреблял огнем и мечом все, что попадалось ему на пути: мирных жителей вырезал поголовно, селения и города превращал в груды развалин, – пока не наткнулся на Богуна, который поохладил немного пыл панского вояки. Но за отрядом Чарнецкого должно было выступить целое войско под предводительством самого короля. Поляки, по-видимому, всерьез решили истребить все казачество и ценою хотя бы окончательного превращения Украины в груду пепла и развалин сделать невозможными дальнейшие мятежи. Между тем, силы и внимание Хмельницкого были отвлечены молдавскими делами. Сын его, Тимофей, отправился с войском на помощь изгнанному тестю своему, Лупулу, и требовал подкрепления. Наконец получили известие, что он ранен. Тогда Хмельницкий, оставив часть войска для защиты Украины, с другой двинулся на помощь сыну. Но на пути он встретил казаков, которые везли тело погибшего Тимоша. Отправив тело в Чигирин, Хмельницкий продолжал путь и встретил польское войско, поджидавшее Тимофея, под Жванцем. В польском лагере, несмотря на присутствие короля, происходили обычные раздоры и беспорядки. Для поляков готовилось снова страшное поражение, если бы крымский хан, вступивший в союз с Хмельницким, не вошел в сделку с ними и не отступил, выговорив себе хорошее вознаграждение и право грабить Украину. Уже второй раз поляки спасали своего короля позорной, беспримерной в истории отдачей врагу на разграбление собственных провинций! Правда, это были русские провинции, но ведь польская шляхта претендовала на роль колонизаторов и

устроителей диких полей. Хороши колонизаторы! Для казаков хан требовал восстановления Зборовского договора, но тут же предлагал полякам идти на Москву и, если казаки не согласятся, окружить и перебить их.

Хмельницкий поспешил удалиться со своим войском, возлагая надежду на московского царя. Действительно, к этому времени между Москвой и Польшей произошел окончательный разрыв. Еще раньше, когда польское войско только выступало в поход, московские послы имели аудиенцию у короля. Они снова указывали на пропуски в титуле царя, требовали казни виновных и еще одного шляхтича, отзывавшегося дурно о царе в Варшаве. Поляки отказали наотрез. Тогда послы заговорили в первый раз о казаках, но заговорили довольно решительно:

“Великий государь, его царское величество, – сказали они, – для православной христианской веры и святых Божиих церквей сделает брату своему, королевскому величеству, таковую поступку, что велит отдать вины людям, которые объявились в прописке в государевом именовании, если король и паны рады успокоят междоусобие с Черкассами, возвратят православным церкви, которые были оборочены под унию, не будут впредь делать никакого притеснения православным и помирятся с ними по Зборовскому договору”.

Поляки ответили, что они решили вести войну с казаками, что ни по Зборовскому, ни по Белоцерковскому договору они мириться не намерены, и предлагали, чтобы московский двор лучше помог им наказать мятежников. Московским послам ничего не оставалось, как прервать переговоры, причем они заявили, что великий государь не будет терпеть такого бесчестия и не станет посылать своих послов к полякам, а будет стоять за свою честь, сколько подаст ему помощи милосердный Бог.

# Глава VII. Воссоединение

***Неизбежность воссоединения, вытекавшая из общего положения вещей. – Решение земской думы в Москве. – Переяславская рада 8 января 1654 года. – Условия воссоединения. – Несогласия среди казацкой старшины. – Война Москвы с Польшею. – Объявление войны Польше со стороны Швеции. – Разгром Польши. – Независимость по образцу голландцев. – Виленский договор. – Союз с Карлом-Густавом и Ракочи. – Недовольство Москвою и недовольство в Москве. – Преданность Хмельницкого своей основной задаче***

Дело объединения Руси близилось к концу. Хмельницкий, как мы знаем, поддерживал постоянные сношения с Москвой и всеми способами старался втянуть ее в свою борьбу с поляками. Для нас неважно в данном случае, желали ли действительно объединения Хмельницкий, казацкая старшина, духовенство и вообще все передовые представители тогдашнего южнорусского общества. Объединение должно было состояться в силу самой необходимости. Хмельницкому не удалось отстоять независимость южнорусского народа, не разрывая государственной связи с Речью Посполитою. Федеративное соединение, как “равных с равными”, оказалось невозможным. Для того чтобы стать “равным” с поляком, южнорусс должен был стать поляком и католиком. Отсюда вытекала историческая необходимость полного разрыва с Речью Посполитой. Образовать независимое государство было немыслимо. Даже если бы Москва и не помешала этому, то Польша, Турция, татары не потерпели бы независимой казацкой республики. Союз с татарами носил, само собою разумеется, временный характер; иного он и иметь не мог; союз этот можно сравнивать с практиковавшимся в некоторых государствах на западе обыкновением нанимать на службу швейцарских или немецких солдат. Добровольное подданство Турции, о котором могли думать отдельные головы, было также невозможно для целого народа, невозможно уже по одному тому, что турки держали знамя ислама, знамя непримиримой вражды с христианством. Итак, оставалась только одна Москва. Только в союзе с нею Украина могла окончательно освободиться от “лядской неволи”, а этого она должна была добиться первым делом и ценою каких бы то ни было жертв. Никто, конечно, не знал тогда, какие именно жертвы придется принести.

Но возвратимся к событиям. В то время, когда поляки шли навстречу Хмельницкому, а Хмельницкий не знал, выручать ли сына или идти биться с поляками, в Москве заседала земская

дума, собранная царем для решения вопроса о подданстве войска запорожского. Дума советовала царю принять гетмана со всем войском и со всеми городами и землями под высокую государеву руку и объявить войну Польше и Литве за оскорбление веры и царской чести. На том и порешили. К началу января 1654 года царские уполномоченные во главе с боярином Бутурлиным были уже в Переяславле, а 8 января там происходила общая рада, на которую гетман пригласил всех полковых старшин и много знатнейших казаков. “Теперь, – говорил он пленным полякам, уезжая на раду, – мне кажется, что мы уже навек разлучимся~ Не наша вина, а ваша, а потому жалуйтесь на самих себя~” В Переяславле гетман держал речь перед громадным сборищем народа под открытым небом:

“Панове полковники, есаулы, сотники, все войско запорожское и все православные христиане! – сказал он. – Всем вам известно, как нас Бог освободил из рук врагов, преследующих церковь Божию, озлобляющих все христианство нашего восточного православия, хотящих искоренить нас так, чтобы и имени русского не упоминалось в земле наглей. Всем нам уже это стало несносно, и, видно, нельзя нам жить более без царя. Поэтому мы собрали сегодня раду, явную всему народу, чтобы вы с нами избрали себе государя из четырех, какого захотите: первый царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть, через своих послов; второй – хан крымский; третий – король польский, который и теперь может принять нас в свою милость, если сами захотим; четвертый – царь православный Великой Руси, царь восточный, которого уже шесть лет мы беспрестанно умоляем быть нашим царем и паном. Тут которого хотите, того и избирайте! Царь турецкий – бусурман~ Крымский хан – тоже бусурман~ Об утеснениях от польских панов не надобно вам и сказывать~ А православный царь восточный одного с нами греческого благочестия~ Кроме его царской руки мы не найдем благоспокойнейшего пристанища~”

Рада поддержала гетмана и высказалась в пользу московского царя. Воссоединение состоялось на следующих основаниях, подтвержденных жалованной грамотой Алексея Михайловича. За войском запорожским сохраняются все прежние его права и вольности; в дела его не вмешиваются ни воеводы, ни бояре, ни стольники царские; судится войско своим товарищеским судом: “где три человека казаков, тогда два третьего должны судить”; гетман и старшина избираются вольными голосами; казаки сохраняют все свои права на земле и разные “пожитки”, находившиеся в их владении; состав войска запорожского определяется в 60 тысяч; гетман сохранял за собою право

принимать чужеземных послов, но оно ограничивалось: во-первых, гетман должен немедленно извещать государя о своих переговорах; во-вторых, послов, пришедших "с противным государю делом", он должен задерживать и, в-третьих, с турецким султаном и польским королем без царского указа вовсе не сноситься. Жалованье казаки получают из местных доходов; шляхта, духовенство, города и вообще мирские люди остаются при своих вольностях, какие получили они от великих князей русских и королей польских; пашенные крестьяне будут "должность обыкновенную его царскому величеству отдавать, как и прежде сего"; управление же всеми делами и даже сбор податей в казну остается в руках местных выборных людей; царь посылает своих сборщиков только для приема податей и надзора за правильным поступлением их. Сравнивая эти условия со Зборовским договором, этим максимумом "уступок", на которые согласились поляки в стеснительных обстоятельствах, мы видим, что народ много выигрывал с переходом под царскую руку. Конечно, это были только письменные бумажные условия, с которыми особенно не церемонились в те времена. Сколько их писалось с поляками, а в результате всякий раз получался несносный для народа шляхетско-католический режим! Гораздо более существенное значение имел тот новый, выработанный Москвою, уклад общественной и государственной жизни, под защиту которого становилась теперь Украина. Древнее вечевое начало, выражавшееся не только в казацких распорядках, но и в шляхетском республиканизме, доходившем временами до анархизма, уступало место московскому самодержавию. Этим, можно сказать, определялась на долгие годы судьба не одной только Украины, но и всего востока Европы. Любопытно, что киевское духовенство во главе с митрополитом Сильвестром Коссовым отказалось принести присягу на верность царю и в продолжение пятидесяти еще лет сохраняло свою независимость. Между казацкой старшиной находились также решительные противники соединения с Москвою, отказавшиеся принести присягу. В числе их мы назовем Сирка, будущего кошевого атамана, и Богуна, известного винницкого полковника. Богун не хотел подчиняться ни московскому царю, ни польскому королю. Преданный казацким традициям, он предпочитал лучше погибнуть в неравной борьбе за свободу, чем идти в новую неволю. Он стал во главе побужан и продолжал войну с поляками. Эти несогласия в среде казацкой старшины стали тотчас же известны панам. Они надеялись привлечь на свою сторону не согласившихся присягать московскому царю. В универсале к русским мещанам и поселянам король говорит:

“Дошло до нас, что злобный изменник Хмельницкий запродал вас на вечное мучение царю московскому под нестерпимое ярмо, противное вашей свободе, и принуждает вас присягать против воли этому мучителю; однако между вами нашлось много постоянных в верности, которые, увидя измену мятежника, отступились от него~” и так далее. Но когда польские войска вступили в Украину, то они встретили повсюду такой же ожесточенный отпор со стороны народа, как и раньше.

Теперь полякам приходилось вести войну на два фронта. Со стороны Смоленска на них наступали московские войска с небольшим отрядом казаков под начальством наказного гетмана Золотаренко, а на Украине их должны были встретить главные казацкие силы под начальством Хмельницкого, подкрепленные московским отрядом под предводительством Бутурлина. Но зато теперь сторону поляков принял крымский хан, тщетно старавшийся расторгнуть союз Хмельницкого с Москвою. В Литве война была несчастлива для поляков. Даже твердыни Смоленска сдались, и царь Алексей Михайлович въехал торжественно в древний русский город. На Украине дела их шли успешнее. Хмельницкий действовал медлительно, медлительно подвигался им навстречу, опасаясь оставить границы незащищенными от нападения татар. Кроме того, между ним и Бутурлиным, очевидно, не было согласия. Поляки под предводительством Потоцкого ворвались на Подолье, и первой жертвой их жестокой расправы было местечко Буша, куда укрылись многие подоляне и которое не захотело сдаться на их требования. Русские сопротивлялись со страшным отчаянием, даже женщины и те бросались с детьми в пламя, чтобы не “доставаться игрушкою солдатам”. В Буше погибло до 16 тысяч народу. Такая же участь постигла и многие другие селения. Тогда Хмельницкий, стоявший табором под Белой Церковью, двинулся с частью войска навстречу Потоцкому. Враги сошлись под Охматовом. У поляков было больше войска, и они обложили казаков со всех сторон. Хмельницкий решил отступить к своему главному лагерю. Он устроил из саней подвижную защиту, замкнулся в ней и после двухдневной борьбы прорвался через ряды поляков и ушел под Белую Церковь. Поляки оставили его и вместе с татарами принялись за опустошение края. Поляк-современник утверждает, что татары нахватали в это время до 200 тысяч русского ясыра.

Странно, что подобное опустошение и грабежи происходили на глазах соединенного московско-казацкого войска. Только после того, как на злополучную Польшу напал с третьей стороны шведский король Карл-Густав и провинции одна за другой передавались ему, наши союзники решительно двинулись вперед.

Хмельницкий думал воспользоваться таким благоприятным моментом, овладеть южными частями Речи Посполитой, населенными русскими, и таким образом завершить дело освобождения народа. Действительно, Польша находилась, казалось, на краю своей гибели. Ян-Казимир бежал в Силезию. Шведы овладели Познанью, Великой Польшей, Мазовиею; наконец, Варшава сдалась им даже без боя. Соединенные московско-казацкие силы, действовавшие в Литве, взяли Вильно, и Алексей Михайлович повелел именовать себя великим князем Литовским. Хмельницкий разбил поляков под Гродеком и осадил Львов. Все южнорусские области сами просились к нему в руки. Никогда раньше обстоятельства не складывались так благоприятно, как теперь, для осуществления его мысли о южнорусском удельном княжестве. Под Львовой, осада которого велась вяло и неохотно, к гетману явились послы от шведского и польского королей. Карл-Густав предлагал казакам приостановить военные действия и дожидаться мира, обещая предоставить им всю русскую землю, а Казимир не скупился на обещания всяческих милостей, если только Хмельницкий расторгнет свой союз с Москвою. “Вы будете уж не казаками, – говорил королевский посланник, – а друзьями короля; вам будут даны достоинства, коронные имения~” Хмельницкий отвечал, что он не может нарушить тесного союза, заключенного с москалями и шведами. “Если угодно его величеству, – говорил он, растроганный письмом польской королевы к его жене, – пусть возвратится из Силезии и начнет переговоры со шведами и москвитянами; дальнейшее предоставим времени. Казаки останутся верными союзниками Речи Посполитой, если Речь Посполитая через комиссаров своих торжественно признает русский народ свободным, как десять лет назад признал испанский король голландцев~” Затем Хмельницкий, взяв небольшой выкуп с города, снял осаду и двинулся в обратный путь на Украину. Через два дня за ним последовал и Бутурлин. Между предводителями, очевидно, не было согласия. Каждый действовал сам по себе. “Я удостоверился собственными глазами, – говорит поляк, присутствовавший при переговорах королевского посла с Хмельницким, – что между казаками и москвитянами нет согласия и ладу; сам Хмельницкий мне сказал, что не хочет знать Москвы: она очень груба”.

И действительно, уже в 1655 году, то есть через полтора года после воссоединения, Хмельницкий входит в сношение с турецким правительством, успевает оправдать в глазах султана свой союз с Москвою и получает от него грамоту с изъявлением султанского благоволения и с обещанием помогать казакам

против всяких их врагов. Неудовольствие Хмельницкого и казацкой старшины Москвою еще больше усилилось после Виленского договора (1656 г.), заключенного между Польшею и Москвою. Первое, что оскорбило их, – это недозволение казацким послам участвовать в переговорах. Уполномоченные Алексея Михайловича прямо сказали, что они, – казаки, подданные, а потому не могут участвовать наравне с царскими посланниками в обсуждении дела, касающегося их. Во-вторых, по Виленскому договору между Польшею и Москвою состоялась сделка такого рода: царь будет защищать короля и Польшу от шведов, зато поляки обязуются после смерти Казимира избрать его, Алексея Михайловича, на польский престол. Такая комбинация была в высшей степени неблагоприятной для планов Хмельницкого. Больше, чем когда-либо, он думал теперь об удельном южнорусском княжестве. Для этого нужно было уничтожить само существование Польши, разделив ее между Швецией, Москвой и Украиной. Карл-Густав благоприятствовал его предположениям. Поэтому он стоял за теснейший союз со Швецией. Благодаря же Виленскому договору Польша сохраняла свою целость, получала даже защитника в лице московского царя, и казаки должны будут в соединении с московским войском воевать за Польшу и против шведов. Получалось как раз обратное тому, к чему стремился казацкий гетман. Затем, что станется с самой Украиной? Не будет ли нарушена ее целость? Не поделят ли ее между Москвой и Польшей и не обессилят ли ее таким образом окончательно? Как отнесется теперь царь, если казаки, продолжая начатое дело, будут с оружием в руках отстаивать свою независимость от Польши? Ведь он теперь союзник польского короля и даже сам король в близком будущем или, по крайней мере, in spe[4]! И масса подобных вопросов подымалась в отягощенной горьким опытом голове казацкого батьки. И голова никла, и силы физические, подорванные невоздержанным образом жизни, окончательно ослабевали~

Получив сообщение из Москвы о заключении Виленского договора, он пишет царю:

“Как верные слуги вашего царского величества о неправдах и хитростях лядских ведомо чиним, что они этого договора никогда не додержат; они на веру нашу православную давно воюют и никогда желательными быть не могут, а теперь они этот договор для того сделали, чтобы, немного отдохнув и наговорившись с султаном турским и татарами и другими посторонними, снова на ваше царское величество воевать~ Мы ляхам никак верить не можем, ибо знаем подлинно, что они православному народу нашему недоброхотны. *Вторично* тебя, великого государя,

единого в подсолнечной православного царя, молим: не отдавай православного народа на поруганье, о котором ляхи помышляют".

Именно вторично, так как, хотя раньше царь и внял этой просьбе не отдавать народа на поруганье ляхам, но теперь он, по-видимому, готов был отступиться от казаков и их Украины, по крайней мере, такое убеждение было распространено среди народа. Затем, не ограничиваясь одними представлениями, он ищет себе союзников и, кроме шведов, с которыми у него были общие интересы, заключает союз с седмиградским князем Ракочи. Ракочи выступал претендентом на польский престол. В 1657 году между Карлом-Густавом, Ракочи и Хмельницким заключен был договор о разделе Польши, по которому шведский король получал Великую Польшу, Ливонию, Гданьск; бранденбургский курфюрст – все польские владения в Пруссии; Ракочи – Малую Польшу, Великое княжество Литовское, княжество Мазовецкое и Червонную Русь, а Украина с остальными южнорусскими провинциями признавалась навсегда независимой от Польши. В помощь Ракочи Хмельницкий отправил двенадцатитысячный отряд казаков.

Конечно, все эти действия гетмана, который на раде старшин и полковников прямо заявил, что "ждать добра от Москвы нечего" и остается отступить от московского государя", стали скоро известны в Москве. Царь послал доверенных людей с выговором. Хмельницкий не мог, однако, вести с ними официального разговора, так как лежал в постели больной; впрочем, он продолжал настаивать, что вовсе не желает изменять своей присяге государю, но что сам государь "учинил над ним и над всем войском запорожским свое немилосердие: помирился с поляками и хотел их отдать в руки полякам". Еще несколько позже, принимая посла от польского короля Казимира, он сказал: "Я одною ногою стою в могиле и на закате дней моих не прогневаю небо нарушением обета царю московскому". Неужели и здесь, на краю могилы, все одна политика? Неужели этот отважный воин, давший в продолжение десяти лет гетманства тридцать четыре битвы своим врагам, даже перед смертью не отважился *говорить* искренне, все лицемерил и двоедушничал? Нет, этого не может быть! Он был в глубине души искренен, когда говорил, что не нарушил и не нарушит "обета царю московскому". Он до конца дней своих неуклонно стремился к освобождению южнорусского народа от польской неволи и к воссоединению его с остальным русским народом. Он до конца дней своих не выступал с оружием в руках против московского царя, не становился к нему во враждебные отношения, не нарушал его интересов. Но он не мог отказаться от своей

основной, первейшей задачи: выбить русский народ из лядской неволи; он не мог давать никаких “обетов” на этот счет, напротив, всякие обеты, какие только он давал, он давал на том условии, что ему помогут достигнуть этой цели. И он искренне, рискуя навлечь на себя гнев и немилость могущественного царя, заявлял это.

Хмельницкий умер в 1657 году, не закончив начатого дела. Да разве и можно было окончить его за десять лет, прожитых им со времени возникновения роковой распри? Борьба между шляхетско-аристократическим и казацко-народным началами не могла быть закончена даже в течение целого столетия. Осталось несовершённым великое дело; но судьба не послала продолжателей и преемников, достойных начинателя. И странно, даже теперь, по прошествии двух с половиной веков, не установилось еще спокойного, беспристрастного отношения к личности главного деятеля знаменательнейшей в нашей истории эпохи, Богдана Хмельницкого. В то время, как общество ставит ему памятник и Киевский комитет по сбору пожертвований в своем воззвании определяет значение Хмельницкого следующим образом: “~Тому, кто возвратил русскому народу киевскую святыню, кто спас, может быть, православие на берегах Днепра и *положил краеугольный камень нынешнему государственному зданию всей России”,* – в это время Московское Императорское общество истории и древностей российских издает трехтомный страстный памфлет известного Кулиша, рисующий Хмельницкого просто отъявленным злодеем и негодяем! Видно, нельзя еще сказать, что деяния Богдана Хмельницкого составляют достояние времен прошедших~

# Источники

1. “Богдан Хмельницкий”, историческая монография *Костомарова.*

2. “О Богдане Хмельницком” *Буцинского.*

3. “История воссоединения Руси” *Кулиша.*

4. “Отпадение Малороссии от Польши” *Кулиша.*

5.“История России” *Соловьева.*

6. Дневник *Станислава Освецима* (“Киевская старина” за 1882 год).

7. “Исторические песни малорусского народа”, с комментариями *Антоновича и Драгоманова.*

8. “История войска запорожского” *Эварницкого.*

9.“История Новой Сечи или последнего коша запорожского” *Скальковского.*

10. “Крестьяне Юго-Западной России по Литовскому праву” *Леонтовича.*

11. “Архив Юго-Западной России”, статьи: *Новицкого* – об экономическом положении крестьян, *Антоновича* – о казачестве, *Иванишева* – об унии.

**notes**

# Примечания

# 1

Право наложения единоличного запрета на решение законодательного собрания, практиковавшееся в Польском сейме XVII – XVIII вв.

# 2

Кош – “всякое временное помещение в пустом месте или на дороге, отдельная кибитка, лагерь, остановите, сборное место”

# З

Согласие, одобрение (укр.)

в надежде, в расчете *(лат.)*